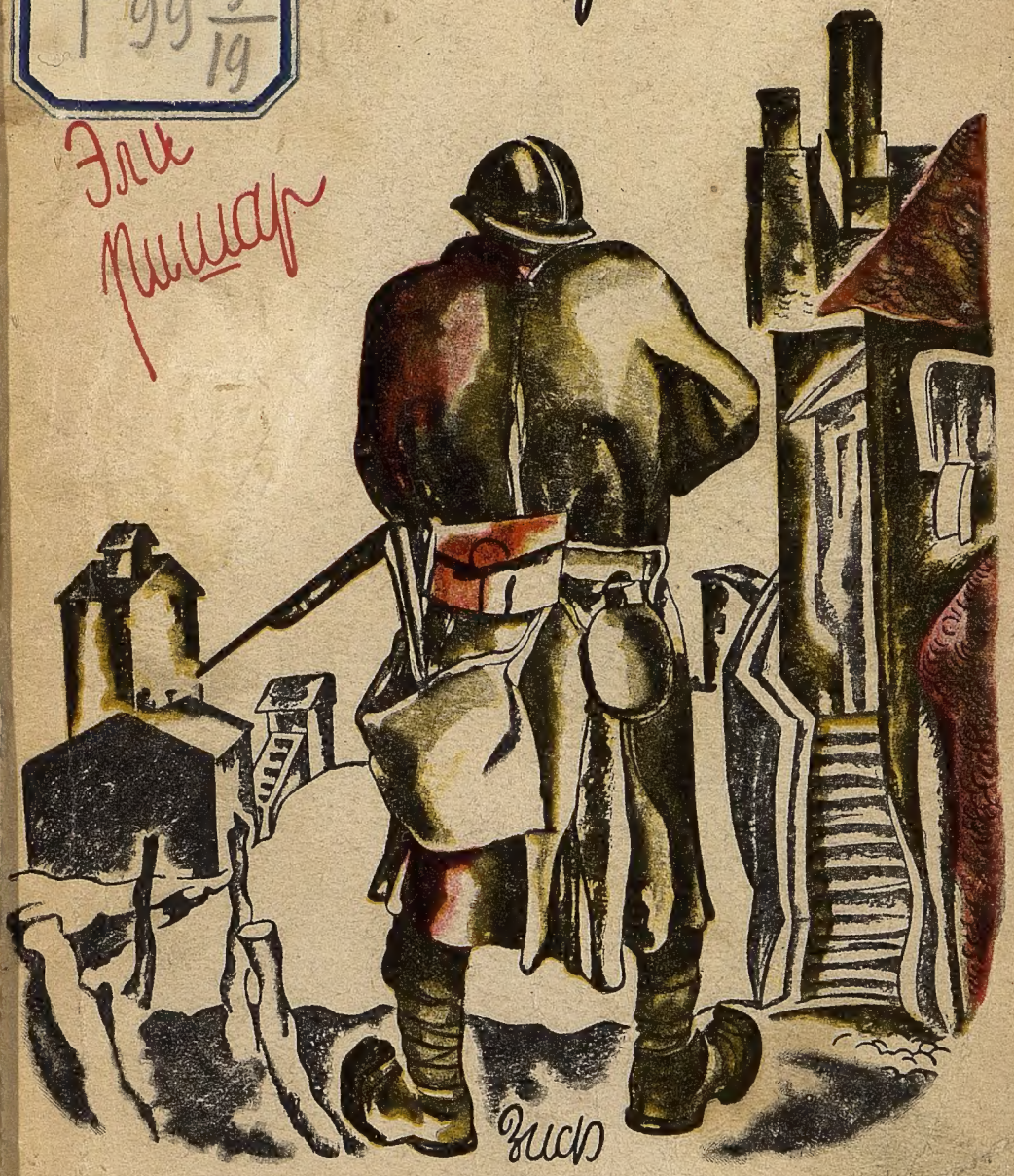
T 99 9/19

Марсо-Ларош

Г99 9/19

Эли Лишар



Р—57
Л99 9/19

Эли Ришар

Марсо-Лароз

Перевод с французского
БЕНЕДИКТА ЛИВШИЦА

Земля и Фабрика
Москва—Ленинград
1 9 3 0

Élie Kichard

Marceau-la-Rose

БИБЛИОТЕКА Г. Н. М.
№ 2165
31—I 1931 г.

V V

ОБЛОЖКА ХУД. В. А. АЛЕКСАДРОВСКОГО

Школа ФЗУ им. Борщевского

Главлит А 66388 Заказ № 985 Тираж 5000

Мировая война породила громадную литературу. Без преувеличения можно сказать, что тема войны заслонила на западе все другие: всемирный успех книги Ремарка у нас на глазах. И это, разумеется, потому, что тема эта — для Запада — узловая. В литературе Запада мировая война заняла центрльное место, потому что и в жизни Запада это место принадлежит ей. И если в нашей литературе она оттеснена на периферию, так это потому, что наша страна пошла дальше Запада, сделав из мировой войны выводы более последовательные, подведя ей смелый революционный итог. Мы перешагнули через мировую войну в жизни, а поэтому и в литературе. Запад и в жизни, и в литературе до поры запнулся на пороге мировой войны. Разве ближайшее будущее не сулит Западу повторение ее?

Мерилом нашей общественной мысли, характеристикой мирочувствования служит раскрытие в художественном образе темы войны гражданской, а теперь и социалистического строительства. Для Запада таким мерилом, такой характеристикой остается выражение в образе мировой войны. Это так, несмотря на рост пролетарской западной литературы, которая несет с собой новую, уже революционную тематику. Но ведь это голоса, уже предвещающие завтрашний день. Тема войны — высший предел, до которого поднимается самосознание западной общественности, еще не нашедшей опоры в революционной борьбе рабочего класса. Одно это дает каждому военному произведению западного писателя право на внимание с нашей стороны. Каждое такое произведение полно социальной значительности. Это так, несмотря на то, что в военной литературе Запада мало произведений, в которых автор смело произносил бы неизбежные выводы, подводил бы четкие итоги, шел бы на-

встречу неотвратимым перспективам с поднятой головой. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что кроме Барбюса и Синклера среди западных писателей о войне этого не делает никто.

Большинство ставит себе более скромную задачу — зафиксировать пережитое, охотно предоставляя ответственное и тяжелое право обобщения самому читателю. Именно так поступил Ремарк. Так же поступает и автор настоящей книги.

Легкие беглые зарисовки нервным и сухим карандашом, этюды в черном и белом, сухая композиция пятен и линий, силуэты людей и вещей, поданные затушованно, в черной тени, — вот манера Ришара. Она как нельзя более подходит к задаче, поставленной себе писателем: передать военную действительность, как она есть. В книге Ришара война показана как горькая обыденщина Мелкие люди, мелкие ничтожные дела. Недаром у Ришара даже не фронт, как у Ремарка, а ближний тыл. Воины Ришара не воюют: они возятся с провиантом, режут тростник, расчищая место для военных построек, пасут овец, занимаются мирными делами. И в шинелях остаются они попрежнему мельниками, апашами, крестьянами, трактирщиками.

Ришар не только не философствует о войне, — он как бы отказывается даже от права каждого художника подбирать факты, чтобы они говорили за него то, что ему нужно сказать. Он берет то, что есть. И если в чем сказывается его вмешательство, так только в том, что среди того, что есть, он берет самое неяркое, самое затененное, отгесненное на самый задний план. Зафиксировать и это — вот как будто цель, которая единственно манит его к себе.

Но такова тема о войне, что и простое ее фиксирование, простая запись самых неприметных ее сторон социологически выразительно. В самом ничтожном явлении своем война раскрывает те же многозначительные общественные противоречия, которые повторяет потом в самых грандиозных событиях.

Ришар отнюдь не задается целью революционной. Это идеалистический противник войны, как таковой, пацифист, человеколюбец типа Ромэна Роллана. Он не хочет войны, потому что жалеет человека. Своих ничтожных героев рисует он, жалея о них и скорбя о великой бессмыслице, в которую брошены они волей капиталистических властителей жизни. Как многие мелкобур-

жуазные интеллигенты Запада, пережившие великую социальную катастрофу, он уже не может не быть социалистом. Слишком резко и безобразно обнажилось перед ним лицо капиталистического общества. Но это социализм чувства, не идеи. В конце концов стихийный социализм этот не обязателен; он безволен; служить директивой к действию он не может никак.

«Там, где виноваты все, — не виноват никто», — говорит он. И ему остается скорбеть над Францией, которая в лице своего бедного сына Марсо-Лароз гибнет впустую. Понять, что дети трудовой Франции будут гибнуть впустую до тех пор, пока виноватые будут заслонять от них самый источник всеобщей вины, понять, что задача писателя, не только скорбящего над страданиями своей страны, но и размышляющего о них, заключается в том, чтобы отстранить самый вопрос о виноватых и поставить во весь рост вопрос об источнике вины, то-есть о капиталистическом строе, не борясь против которого, поневоле становишься виноватым в его поддержке; до этого Ришар, — как, впрочем, и другие гуманитарные социалисты, — подняться не может.

Это и есть мерило общественной жизни Запада, характеристика его теперешнего мирочувствования. Ненависть к каинову делу — войне — и боязнь поставить перед собой вопрос о средствах к уничтожению не только войны, но и самой ее возможности, — вот двойственное состояние, в котором лучшая часть мелкобуржуазной интеллигенции Запада застыла на пороге войны, еще не смея ступить дальше.

Нужна некая живая сила, чтобы вывести эту интеллигенцию из неподвижности и увлечь ее в путь. Эта сила уже идет. Но в поле зрения Ришара она еще не попала и в книге его отражения не нашла.

Часть первая

Марсо лукавит

I

Марсо стал срезать камыш. Длинные стебли как будто сопротивлялись, приходили в движение, шуршали, потом в кулаке солдата внезапно взлетали на воздух и падали на высохший ил.

Он вскоре уселся на ивовый пень среди зыби листвы, поднятой ветром. Потирая одна о другую мозолистые руки, он всматривался по ту сторону канала. В сером сумраке утра там шумно копошились люди.

Было начало сентября 1915 года. С моря дул холодный ветер. На востоке извилистая линия канала делала крутой поворот, вгрызаясь в шершавую кору, в заскорузлую кожу Франции. Еще дальше, на горизонте, взгляд упирался в золотые, вечно ропщущие вершины леса.

Сидя в камышах, Марсо глядел на своих товарищей, таких же мельников, как и он, все еще насквозь пропитанных мукою, прочно засевшей у них в порах, на грузчиков, переступавших медленным широким шагом, на учителей, еще не привыкших к обращению с инструментом и стесненных кожаными жилетами, наползавшими им на затылок, на сотрудника газеты, напялившего на голову вещевой мешок, что придавало ему сходство с капуцином. Одетые в светлосиние мундиры, они тоже несли тяготы войны. Командовал ими земляк Марсо, капитан Бард.

Зарывшись в самую гущу, он не брезгал никакой работой: катал сходни, подталкивал, на ряду с прочи-

ми, вагон, упираясь плечом в его грязную стенку, хотя от этого и страдало дорогое офицерское сукно. Солдатам это нравится.

По мере того, как подвигается вперед прокладка рельсов, пустынная топь оживает. Люди теснее сходятся друг с другом. Конечно, товарищеское отношение начальства помогает легче переносить невзгоды, но немалую роль играет и горделивое сознание преодоленных препятствий.

Серыми выпученными глазами Марсо в это утро разглядел в воинском деле что-то свое, знакомое, крестьянское. Для того-то его и пригнали сюда. Война заключает в себе все это, в особенности когда она оборачивается к Марсо вот такой тысячей человек, целой артелью, забравшейся сюда в камыши, чтобы снова вызвать к жизни заброшенный канал, всеми забытый уголок земли.

Ему приятно было думать об этом, и он не очень торопился снова взяться за работу.

А-Бард все тот же! Этот худощавый старикашка был точь-в-точь таков и в Ардре. Беззубое высохшее лицо с висящими книзу, точно трут, усами. И, смотри-ка, сделали его офицером! Свечного торговца! Правда, брат у него депутат.

Люди на противоположном берегу разбрелись вдоль канала. Солнце, поднявшись над горизонтом, медленно двигалось на юг, не выходя из белесой пелены тумана. Марсо следил за ним. Неопределенно-приятные мысли лениво сменялись у него в голове; он даже чувствовал от них какое-то томление в груди, и на лице его застыла довольная, немного лукавая улыбка.

Вот на глазах у него вырастает целое селение. Вер-

нее, лагерь: на деревню это пока еще мало похоже. Правда, протоптанные тропы уже перекрещиваются во всех направлениях и в воздухе звучат совсем по-крестьянски голоса, но все же не хватает еще крепких запахов гумна, хлебной печи, погреба, табачных листьев, подвешенных для просушки к потолочным балкам, не хватает шума мельниц.

Ему, Марсо, как-то не по себе: его вечно будет сбивать с толку лязг железа, работа по команде.

Однако и телеграфные столбы, точно всматривающиеся в даль, приложив руку к глазам, и сем-восемь ошалевших скворцов, перепархивающих у него чуть не под носом, — все это так напоминает обычную, каждодневную жизнь, назойливую, знакомую до мелочей, жизнь соседа-хлопотуна.

Он вздрогнул, услыхав громкий голос Барда и крики солдат, подталкивавших огромные вагоны, по стенкам которых струйками сбегал оттаявший иней.

2

Толком и не передать, как это происходит.

Однажды вечером к нему пришли на мельницу и сказали:

— Ну, Марсо, твой черед!.. Хочешь не хочешь, а пойти и тебе надо!

Сорок четыре года! Хоть по пальцам считай. При взгляде на него можно было подумать, что у него за плечами пятьдесят, а то и больше. Он понятия не имел, что значит быть солдатом, так как никогда военной службы не отбывал. Тяжело ему было покидать насиженное место, расставаться со всем, что с детства окружало его, — с мельницей, с односельчанами, с дорога-

ми, убегающими в даль по равнине, с колокольней, которую узнаешь за тридцать километров от дома. Все, что лежало за этими пределами, уже смущало его.

Некоторые из тех, что до него ушли из Ардра, были убиты, другие вернулись калеками; часть, наконец, пропала без вести.

Он, сын бывшего мэра, умевший читать, писать и вообще обладавший кое-какими познаниями, не мог, разумеется, отказаться от бумажки, которую ему вручил жандарм. Впрочем, отказываться никто не мог.

Он выполнил все, о чем говорилось в бумажке. На нем была черная блуза и ластиковая фуражка. Под сорочкой, на мохнатой груди, он чувствовал приятную тяжесть золотых монет. Дойдя до моста, он расцеловался с девушкой, служившей на мельнице, с братом, которого уже не касались никакие призывы, с его женой и пешком направился на станцию, расположенную в трех километрах от Ардра. Там он сел на поезд и доехал до города.

В казарме ему выдали красное кэпи, заплатанную, но теплую шинель, винтовку, весившую со штыком не меньше двенадцати фунтов, и объяснили, в чем состоят обязанности дорожной охраны.

Участок, на котором находился его пост, представлял собою равнину, спускавшуюся к западу. Зеленые и золотые поля пшеницы, ржи и овса смягчали резкие очертания холмов. В неподвижном море злаков застыли черные силуэты нескольких яблонь, шевелили ветвями платаны, да высилась одинокая, заброшенная башня.

С утра до вечера над головой у Марсо кружили жа-

воронки, заливаясь неистовыми трелями. Белая дорога, обсаженная тридцатью шестью чахлыми, похожими на облезлые метлы, платанами, еще долго пылила вслед ненавистным автомобилям.

Он брал на изготовку всякий раз, когда, гудя, мимо него проезжали грузовики, мчавшиеся на север, в сторону войны и неизвестности. Он думал о мельнице, о муле, уже начинавшем сдавать, о дырявом сите, которое ни к чорту не годилось. Говорил он мало и всегда немного смущался, замечая улыбку на лице начальства. Сменяясь, он ронял короткое замечание, иногда одно лишь слово. Взглянув на поле, он порой изрекал:

— Ну, соломы будет больше, чем зерна... Головой можно поручиться... Крышка мельницам!

Или поводил плечом в том направлении, откуда доносился крик куропатки:

— Не оберешься дождей, попомни мое слово!

Фермеры и горожане, сборщик податей, командовавший взводом, и все солдаты считали его дураком, но безобидным, потому что он не интересовался бюллетенем, не посвящал их в свои личные дела и говорил о себе в третьем лице.

Над ним издевались за то, что, брея усы и бороду, он не хотел пожертвовать седыми бакенбардами — котлетами, на жаргоне его товарищей, — а также за то, что ни при каких условиях не расставался со своей ластиковой фуражкой, спал в ней и ел, с пренебрежением относясь к казенному кэпи.

Сборщику податей, призванному из запаса сержанту, пришлось потратить немало времени, чтобы втолковать ему, что кэпи — вещь необходимая, предписанная уставом, когда несешь караул.

— Да ведь боши не ближе, чем в двухстах километрах отсюда!

— Наденьте ваше кэпи!

— В эту пору и наших машин в помине нет!

— Наденьте ваше кэпи!

Ему надоело все, и он стал отлучаться, нанимаясь на полевые работы к окрестным землевладельцам, хотя это было строжайше запрещено и приказ об этом висел на стене караулки. В один из страдных дней он убирал хлеб у Лангро и не явился к вечерней перекличке на ферму, служившую караульным помещением. Его подвергли взысканию.

— Он не мог вернуться во-время,— оправдывался Марсо,— хозяева опасались грозы...

— Плевать мне на них! — отрезал сержант.

— Он заплатил бы по совести заместителю...

Ему представлялось чем-то совершенно естественным, если бы его заменил кто-нибудь по добровольному соглашению с ним, как при случае он это сделал бы сам.

Но на его объяснения никто и внимания не обратил.

Однако, наслушавшись разговоров, он понял, что эти люди, подобно ему, не упускают из виду и общих интересов. Но так как все они были хитрее его, то у них это не выпирало наружу.

Он продолжал попрежнему отлучаться, пока, наконец, сержант не поймал его. В этот раз под конвоем жандармов его препроводили в Орливаль.

В городе было шумно, как на большой мельнице. У него не было времени даже призадуматься над этим, так как его посадили сразу на гауптвахту и продержали там двадцать девять суток. По отбытии наказания его

прикомандировали к одному из интендантских учреждений, ведавших снабжением войсковых частей зерном. Это была его прямая специальность.

Разумеется, его прямая специальность! Ведь он был мельник!

Его широкие, вогнутые плечи не поддавались под тяжестью двух мешков пшеницы или маиса, весивших от восьмидесяти до ста кило каждый. Этот груз никак не отражался на его поступи, когда он двигался в башмаках на босу ногу, широко расставляя огромные ступни, ни на обычном течении его мыслей, продолжавших свою работу в этой седой голове со лбом, прорезанным тремя глубокими морщинами.

Искусным приемом, вызывавшим зависть окружающих, он в два счета завязывал мешок. Положив на бронзовую, пересеченную белыми линиями, ладонь несколько зерен, он рассматривал их с видом знатока.

Одетый в парусиновую куртку и штаны, насквозь пропахшие мукой, величаво медлительный, он проводил здесь все время между двумя перекличками, блаженствуя в атмосфере горячей душной пыли, родственной ему и столько говорившей его воображению. Его инстинкт мельника находил здесь тысячу профессиональных, атавистических радостей, неуловимых и непонятных для всех остальных людей.

Однажды к концу дня ему захотелось взглянуть поближе на этот Орливаль, который он видел лишь мельком, когда жандармы вели его на гауптвахту.

Не долго думая он вышел на улицу неспешной походкой человека, несущего большой груз, мерно размахивая руками, немного сгорбившись, низко опустив голову и вытянув ее вперед, так что шея и затылок

находились в горизонтальном положении. Казалось, ему навалили на спину тяжелый мешок, который он и в самом деле вот уже тридцать лет таскает на себе изо дня в день. И когда он в изумлении остановился перед первой встретившейся ему витриной, он подался вперед всем телом, словно сбрасывая с себя свой каждодневный груз.

Затем его внимание привлек обсаженный каштанами сквер, где играла музыка.

Разодетая по-воскресному толпа, веселая, но степенная, кольцом обступила павильон, где помещался оркестр. Особенно было много женщин и девушек, с блед сводили глаз с офицеров и солдат. Им показались очень забавными белая куртка Марсо, его грубые башмаки, с простой бечевкой вместо шнурка, из которых торчали большие пальцы, его сплющенное, перепачканное мукою кэпи, превратившееся в колпак мельника.

Его загорелое лицо вытянулось. Широко раскрытым ртом он как будто ловил затейливые трели, вылетавшие из кларнета и корнет-а-пистона. Треугольник назойливо всучивал ему в мохнатое, еще пропыленное мукою ухо свои пронзительные звуки. Под седеющими бровями в голубых с сероватым оттенком глазах медленно пробуждалась жизнь. Легкая бальная музыка отзывалась биением в обоих больших пальцах на ногах; горячая кровь прилила к рукам, этим грубым, туго вращавшимся кистям, крепко, но не до конца сжимавшим одна другую.

Он уже собирался уходить, когда к нему подошел офицер:

— Что вы здесь делаете?.. Как вас зовут?

Это был молодой человек, вылощенный, раздушенный, говоривший с неприязненной вежливостью в голосе. Он старался изобразить на своем лице возмущение, и от этого его щеки разгорелись легким румянцем. Фамилия его была Виро, в интенданстве к нему обращались: «Господин офицер Виро».

Марсо ответил, но не сразу, так как ему было трудно оторваться от окружающей обстановки и перейти на надлежащий воинский тон:

— Марсо Анри, господин офицер, год призыва девяностый...

И с любезной шутливостью прибавил:

— Он прохлаждается...

— Марш в казарму! Никаких разговоров!..

Марсо вытаращил глаза. Просияв улыбкой, они утратили свой сероватый оттенок и стали совсем голубыми. Он был уверен в своей правоте и спокойно уставился ими на молодого вояку.

Заметив вокруг себя насмешливые взоры, офицер смутился и энергично процедил сквозь зубы:

— Марш в казарму! Марш!

— Э, — певучим ардрским акцентом протянул мельник, — погодка-то в роде вас: от хмури этой сейчас следа не останется.

Он хотел объяснить молодому человеку, что всем людям свойственно заблуждаться, но, убедившись в своей ошибке, круто повернулся на каблуках и направился домой. Его нагнал сержант и приказал следовать за собой. Он пошел за ним, широко шагая, согнув шею под незримым грузом, все еще продолжая улыбаться.

Марсо откомандировали в действующую армию. Там,

приняв во внимание его возраст и то, что он никогда не отбывал военной службы, его оставили в тылу, в одной из нестроевых частей. И вот теперь, в 1915 году, он находится на севере, недалеко от моря, на работах по прокладке канала, и под наблюдением капрала Шантриля, срезает камыш для шалашей, сооружаемых в новом лагере.

3

Выходя из задумчивости, Марсо видел сквозь камыши просмоленные створки шлюзов, крикливых чаек и оголенные остовы двух судов стоявших в канале. Чайки затевали какие-то замысловатые игры, ссорились друг с дружкой, ныряли в воду, располагаясь на ее поверхности разнообразным и сложным узором.

На одном из заброшенных парусников жила семья бедняков: ловец крабов и его сухопарая подруга, высокая, беззубая женщина, благодаря нищете, пьянству и разврату потерявшая человеческий облик и прозванная Семгой; при этой веселой особе был младенец, которым ее наградил минувшим летом случайный прохожий.

Если бы иметь достаточно времени, здесь можно было неплохо работать. Приливом в болота загоняет рыбу, которой не удается выбраться обратно с отливом и которая скопляется у закрытых шлюзов. Тишина здесь стоит такая, о какой иному рыболову не снилось и во сне. Она как будто таится всюду, и достаточно людям на минуту ослабить внимание, как она на всем протяжении завладевает этой покинутой морем долиной. В такие моменты все замирает: камыши перестают шептаться, облака погружаются в воду, берега засыпают

под бледными лучами солнца, рыбака не отличить от ивы.

Но это длится не слишком долго. Стоит только крикнуть ворону или, перелетая с ветки на ветку, упасть каштановому листу, и жизнь снова вступает в свои права.

Шум разрастается в оглушительный гам. Все стараются принять в этом участие. Ветер, чайки, рыбак, окликающий запропастившегося куда-то товарища, военный рожок, звуки которого отскакивают от воды, как пущенный ловкой рукой плоский камешек, солдаты, прокладывающие рельсы на северном берегу, и Бард, орущий на них во все горло.

Сержант втыкает в землю кол. Саперы волокут шпалы и рельсы. На шелестящую зелень, испещренную там и сям цветами одуванчика, сыплется золотой песок, на песок — шлак, скрипящий под подошвами, как раздавленный зверок. Едва успевают продолжить колею на дьадцать-тридцать шагов, как появляется паровоз, толкая перед собой по заржавленным рельсам вагоны. Глухим пыхтением он уничтожает последнюю иллюзию сельской тишины. Он тяжело дышит: уф!-уф! Передохнет — и снова начинает: уф!-уф!-уф!

О, канал, ты притворялся спящим. Погоди-ка немного! Тебя разбудят, дружище!

Чайки взвиваются ввысь и пропадают.

Рыболовы пожимают плечами и пропадают.

Марсо срезал камыши, сознавая, что и он не последняя спица в колеснице. Продолжая работать, он посматривал на Барда и узнавал каждый жест свечного торговца из Ардра. Бард поднимал руку кверху, словно желая достать с полки десятифунтовую свечу, и голу-

бые мундиры зарывались в высокую траву. Из всех этих грузчиков, крестьян, рабочих, служащих, из журналиста сделали солдат, людей, двигающихся по команде. Они выгружали вагоны, выбрасывая их содержимое на землю, как потрошат крупных животных. Грудами сваливается на берегу инструмент, ящики с консервами, оружие, упаковкой напоминающее свечи. От извилистой тропинки, по которой уже давно ходили одни лишь охотники на водяных курочек и чаек, не осталось и следа.

Оглядывая себя с головы до ног, Марсо не переставал изумляться. Каким образом очутился он здесь? Не мерещится ли ему все это?

И Бард! Бард! Нет, это не сон. Он ли, Марсо, не знает его?

Ведь у Барда брат депутат, не так ли? Член республиканской партии... Правоверный. Ведь это он сделал свечного торговца офицером, старого пройдоху — всеми уважаемым человеком.

Бард — чистокровный южанин, находчивый, подвижный. В один прекрасный день он перебрался в центр, поселился в Ардре и открыл свое заведение рядом с церковью. Он торгует свечами оптом и в розницу. Его мошна за прилавком, установленным свечами и прочими осветительными материалами, вероятно, так же толста, как и его жена, набожная и скопидомная брюнетка.

Пускай издеваются над его зюзюканьем и шепелявостью.

Он первый подсмеивается над этими недостатками речи. Его простодушная физиономия расплывается в улыбку. Улыбка не сходит у него с лица, пока он отпускает покупателям свои изделия с фабричным клей-

мом «Бард! — шести-восьми фунтовые свечи и прочие предметы церковного обихода.

И зашибает же он деньгу без конца!

Все это, однако, не мешает ему любить женщин.

Даже здесь, на берегу канала, он не пропустит рыбачку или сортировщицу щебня, не обратившись к ней с какой-нибудь любезностью, шуточкой, а при удобном случае непременно потащит ее под откос, за забор... Они побаиваются его усов, похожих на трут, его беззубого рта.

Но глаза у него добрые!

У него есть молоденькая любовница, дочь стекольщика, с которой он прогуливается вечером по скалам. Зовут ее Сюзи или как-то в этом роде. Роста она крошечного и, кажется, торгует устрицами.

Это да труд — вот и вся его жизнь.

Барда можно видеть всюду: он и на откосе, и у плотины, на складах и в огороде. Он реквизировал на крутом берегу брошенную, но еще комфортабельную виллу, откуда открывается вид на море, и намерен поселить в ней прибывающих офицеров.

И Бард вполне доволен своей судьбой.

Он проводит колею на северный берег, восстанавливает виллу, бродит по скалам даже ночью. Он любит это море, жесткое как брезент, эти тропинки, окаймленные колючим дроком, обдирающим кожу на сапогах. Он с нетерпением ждет будущего. Знает, что оно готовит ему еще какой-нибудь приятный сюрприз.

Брат обожает его. Он платит ему тем же.

Канал причиняет ему немало хлопот. Его вырыли давным-давно, предназначая для судоходства. Подал эту мысль мэр, он же и банкир. Политика и коммер-

ция — обе способствовали осуществлению этой идеи. Канал провели на пять-шесть километров и бросили. Взгляды у людей сплошь и рядом резко меняются: в один прекрасный день убеждаешься, что самые лучшие проекты никуда не годятся, или что игра не стоит свечей. (Ха! ха! ха! — Это происходит само собой...)

Воду, наполняющую крутые рукава канала, возмущает лишь резкий ветер с моря. В ней отражается только унылое северное небо: она не знает, что такое синева. Синевы на всем протяжении года так мало в воздухе, что вода здесь не привыкла быть лазурной. Прачки никогда не приходят сюда. Эта вода жестче крестьянского холста, потому что морской прилив дважды в день ударяет о стены канала и прибрежные жители, перепачканные грязью солдаты, ждут, как манны небесной, пронизывающего, затяжного северного дождя, который даст им возможность отстирать белье да еще смягчить огрубелую кожу на руках.

Марсо не терял времени даром. Медленно ворочая мозгами, по нескольку раз возвращаясь к одним и тем же мыслям, не слишком ясным, но добротным, он занимался делом, доставлявшим ему даже некоторое удовольствие.

Нарезав огромную охапку камыша, он перевязывал ее своим синим поясом и, взвалив на плечи легкую ношу, направлялся к мостикам, ведущим к болоту.

Если жизнь пробуждает своим дыханием какой-нибудь уголок земли, приспособляется к небоскату, мирится с существованием канала, доверяется ветру, воде, почве, почему бы ей не распространиться и во времени, текущему навстречу?

Она утвердилась здесь и продолжилась. Сол-

датский поселок, выросший на болоте, осушенный нескончаемой вереницей часов труда и досуга, вскоре стал совсем похож на старые селенья. Только улицы были окрещены именами новых побед.

4

Обитатели вернулись к своим исконным привычкам. Во всяком случае, эти привычки снова завладели каждым из них: и солдатом, и офицером, и чайкой, — гибкие привычки, умевшие сообразоваться с видимостью новой жизни.

Так Марсо сделался крестьянином и Бард коммерсантом.

А Виро опять познал сладость мечты.

Он устремлял взгляд на море, как смотрел на музыкальный павильон в Орливале, на купальщиц, — привычным движением нырявших в воду, — как на мещаночек, жадно слушавших «Дрозда и зяблика» в виртуозном исполнении солиста на корнет-а-пистоне, или «Выбор Манон» в исполнении всего оркестра.

Виро сравнительно недавно женился на высокого роста строгой особе, наделенной всеми мелкобуржуазными предрассудками. Он знает, что она без малейшего нетерпения ждет его возвращения с фронта. Для нее самое главное на свете — ее скромное благополучие и то, что она считает положением в обществе. Никаких страстей в этом добродетельном существе. А он, он так хотел бы, — чего, он сам не знает, — чего-то, о чем и думать запрещают ему его убеждения, но что исполняет его сердце нежной печалью, как в детстве.

В особенности по вечерам, когда солдаты резбредаются по палаткам и баракам, а местные жители воз-

вращаются в деревушку на берегу, когда на западе слышно только мощное сердцебиение моря, а с востока, где лагерь, доносится невнятный гул, Виро не в силах совладать со своей грустью. Он надевает плащ, прячет под ним галуны и уходит в темноту.

В углублении, образуемом скалами, расположился маленький поселок. Невзрачные домишки выстроились в ряд вдоль берега ручейка, превращающегося в часы морского прилива в настоящую реку. Виро шагает во мраке, переправляется по шаткому полусгнившему мостику, подходит вплотную к дверям, к наглухо закрытым ставням. Ему хочется постучаться, войти, сказать:

— Как хорошо здесь у вас. Позвольте мне усесться за вашим столом и продолжайте вашу беседу. Мне так приятно было бы подружиться с вами. Не стесняйтесь, будьте откровенны со мной.

Но он отлично знает, что эти люди боятся офицеров. Золотые галуны внушают им недоверие и ненависть.

Он уже сотни раз приходил сюда. Наталкивался в темноте на чьи-то тени. Задевал локтем женщин, молодых девушек, но ни разу не осмелился произнести хоть слово, которое сломило бы лед, уничтожило бы преграду, отделяющую его от них, от всех живых существ.

И вот он бежит прочь от деревушки.

Теплыми ночами солдаты выходят из палаток. Собираются в кучки, садятся на землю, располагаются на траве, закуривают. Некоторые поют хором: это южане. Затем мало-по-малу огоньки папирос удаляются, пропадают во мраке, пение прекращается, и Виро, молча

усевшийся среди солдат, остается один. Он боится одиночества, потому что оно сладостно, как грех.

В один из таких вечеров, бродя в сумерках и не сколько раз натолкнувшись на северных моряков, которые возвращались в порт, где мирно дремали их суда, он, несмотря на твердое решение, все-таки добрел до деревушки на берегу ручья. Один из домиков немного выступал вперед, и казалось, делал это умышленно, заманивая внутрь светом, бившимся сквозь ставни. Перед ним черным силуэтом вырисовывалась узкая беседка, откуда доносились женские голоса. Разговаривали мать и дочь. Потом девочка осталась одна. Виро почувствовал озноб во всем. теле. Он не попадал зубом на зуб.

— Добрый вечер! — робко окликнул его певучий голосок, когда он проходил мимо беседки.

— Добрый вечер... — еле выдавил он из себя: звук застрял у него в горле.

Не отдавая себе отчета в своих действиях, он приблизился к девочке, хрупкие очертания которой угадывал в темноте. Они обменялись несколькими словами о том, какая теплая выдалась ночь. Он заговорил с ней как с ребенком, сначала о погоде, потом о красоте пейзажа и морского вида. Затем уселся рядом. Она не отодвинулась и отвечала немного глухим голосом. Вдруг распахнулось окно.

— Нини! — прохрипела старуха. — Нини!.. Ты здесь с сестрой?

— До свиданья! — шопотом попрощалась девочка.

Он увидел, как удалялась ее тень, как на мгновение вспыхнул во мраке освещенный прямоугольник двери.

Он снова остался один в темноте. У него было такое чувство, словно что-то у него отняли.

В этот вечер Виро долго просидел на деревянной скамейке в беседке. Он был доволен собою, тихой волнующей грустью, овладевшей всем его существом. Прелесть неожиданной встречи, казалось, сковала его волю. Вдруг на дорожке раздались шумные голоса. В одном из них, грудном, принадлежавшем мужчине, он узнал по северному акценту сержанта Манжлена, орав-шего:

— Потаскуха!.. Потаскуха!

— Послушай...

— С Бардом, со старикашкой!..

Дверь снова распахнулась. Манжлен, продолжая ворчать, вошел в дом. Следом за ним переступила порог стройная девичья фигурка.

— Это, — сообразил офицер, — та самая Сюзи, которая вскружила голову дядюшке Барду.

В окне зажегся свет, и Виро увидел, как за стол сели обе дочери, Манжлен и старуха. Четыре силуэта маячили за освещенной рамой, и все их жесты были ясны и понятны, точно сопровождались словами.

Сержант был роста ниже среднего. Большой живот выпирал у него из-под куртки. Ел он и пил степенно, подливая то и дело матери в стакан, и говорил ей о чем-то, явно волновавшем его.

Немного погодя старуха, вскочив из-за стола, набросилась на Сюзи и стала избивать ее, крича пронзительным голосом, который слышен был и за дверью:

— Стыда у тебя нет! Отец твой умер... Отец твой умер... А ты уже спуталась, шлюха?.. И с кем? Со стариком, который дважды мог бы быть тебе отцом!

Виро взглянул на дом, где недавно умер человек.

В окне второго этажа мерцал слабый свет. Он подумал о покойнике, который лежал в этой комнате, который, быть может, и сейчас еще простерт там на кровати. Он несколько раз возвращался мыслью к этому забытому семьей мертвецу. Он уже был уверен, что наверху лежит покойник. Его душа, не успев еще перешагнуть порог, верно, внимала всему происходящему внизу: звону стаканов, голосу Манжлена.

Ссора затихла. Глухой гул голосов просачивался теперь сквозь все щели в стенах и доходил до Виро. Можно было подумать, что этот дом ничем не отличался от остальных, спокойная жизнь которых разрешается вечером тихой трапезой в тесном кругу любящих друг друга людей.

5

Марсо растворяется в этой линяло-голубой податливой толпе, подчиняющейся воле начальства. Но его личная воля не подавлена. Если его посылают вместе с товарищами на какую-нибудь работу, он бродит по окрестностям дольше других. Захаживает в деревни, заглядывает на поля, слоняется по откосам. Порою поднимается на борт одного из парусников, наполовину затонувших в устье канала и на которые приходится взбираться по шаткой, как мельничная лесенка, доске. Он приносит ковригу беззубой, всегда веселой Семге: она напоминает ему непоседливых батрачек его родины, кочующих от одного хозяина к другому, и он дает ей иногда еще ломоть американского сала. Так остается он самим собою в солдатском поселке, в этой тестовидной гуще, жадно всасывающей в себя тысячу укро-

щенных воль, образующей из всех этих непохожих друг на друга лиц, из всех этих бьющихся поразному сердец, из всех этих человеческих молекул одно огромное, копошливое и шумное целое.

Утром Марсо, сидя на соломенном тюфяке и завтракая куском сала, смотрит, как оживает этот муравейник, и с улыбкой замечает, что и его самого затягивает этот сложный организм: он лучше сложен, лучше скомбинирован, но все же менее привлекателен, менее человечен, менее доходен, чем мельница.

Взять к примеру хотя бы его соседа по койке, Пти-Луи, который, проснувшись, бесшумно потягивается и мгновенно принимается за молчаливое осуществление своего личного благополучия. Благополучие же Пти-Луи заключается в том, чтобы находиться в центре толчеи, быть налицо во всякой суматохе и точно сквозь землю проваливаться, когда толпа разбредается, распадаясь на свои составные элементы.

Затем есть капрал Шантриль, распределяющий наряды, и офицеры, взирающие на это немного свысока.

Наконец каждодневный труд.

Если ты от природы не слишком тщедушен, с ним можно свободно управляться и притом не забывать о собственных делах: нужно только разгружать суда или грузить вагоны, печь хлеб, таскать тяжести, а подчас и совсем легкие вещи...

Тем, кто жаловались на свою судьбу, Марсо иногда возражал:

— Ха! Ха! Вы собирались итти на Берлин, а от тючка в полсотни кило у вас глаза на лоб лезут!

За его еще насмешливыми чертами, за этим лбом, представлявшим загадку для большинства окружаю-

щих, таилась лукавая крестьянская мысль, вернее — мысль мельника, деятельно работавшая в разных направлениях, особенно интересовавшаяся жизнью за стенами казармы, существованием людей, не втиснутых в военный мундир.

Найдя старую газету, он, прежде чем разжечь ею огонь, внимательно прочитывал ее. Писал он по всякому поводу. Он писал президенту республики, сообщая ему о своем проекте хлебной политики; главнокомандующему — о новой постановке стрелкового дела; даже бельгийскому королю, который отвечает всем своим корреспондентам. В глубине души он был убежден, что дело идет совсем не так, как нужно. Он чувствовал, что всем этим людям хочется и необходимо вернуться домой, и мельникам — к своим мельницам.

Сделанное им изобретение, имевшее целью обезопасить пребывание солдат в окопе, не давало ему покоя.

Между тем как Пьер-Луи сидел сложа руки, какой-то инстиктивный, хотя и слишком многословный альтруизм все время куда-то толкал Марсо.

Его товарищ по койке, — говоря проще, сосед по соломе, на которой они спали, — был уроженец Гренеля. У него было бельмо, грыжа и другие физические недостатки, из которых он извлекал для себя немалую пользу. В 1915 году множество таких солдат болтались по фронтовой полосе. В штабах, в городе их нельзя было приспособить к канцелярской работе: они были слишком малограмотны и невежественны. Их поэтому бесцеремонно перебрасывали из одной части в другую.

Значился он по формуляру Пьер-Луи, призыва 1906 года, почему его и прозвали Пти-Луи. Мягкая по-

ступь вразвалку свидетельствовала об его происхождении и прирожденной привычке к безделью. Марсо поражала ловкость, с которой этот человек водил за нос капрала Шантриля. Мельник уважал Пти-Луи за искусство, с которым тот уклонялся от выполнения всяких нарядов, караулов и требований дисциплины. Между тем, как все вокруг выбивались из сил под бременем физических тягот, часто совершенно бесцельных, он жил припеваючи, не ударяя пальцем о палец.

Пьер-Луи никогда не работал. Он пускал для этого в ход всевозможные уловки, начиная от хождения к врачу и отпусков по болезни и кончая натиранием ног жесткой щеткой, смазанной ружейным салом. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимое спокойствие, стойко охраняя свое право на лень и не стесняясь своих пороков. Его хладнокровная ложь сплошь и рядом вводила в заблуждение начальство и действовала неотразимо на товарищей.

Его сослуживцы безропотно выполняли все, что от них требовалось: те из них, кто завидовал праздности Пти-Луи, слишком опасались его, чтобы решиться на донос; те же, кто по природе не были завистливы, одобряли его за то, что он оставлял в дураках их общего врага Шантриля и, в лице капрала, все начальство вообще.

Марсо-Лароз охотно сам последовал бы его примеру, перенял бы его повадки. Но мельник оставался самим собою, несмотря на все старания: Пти-Луи был неподражаем. Он обладал каким-то секретом. Сила этого загадочного человека попросту заключалась в том, что он не был ровно ничем. Он не выскакивал вперед, не нуждался ни в чем и ни в ком, — ни в майо-

ре, ни фурьере, ни даже в вахмистре. Далила — и та ничего бы не выведала у него. Он неизменно хранил молчание: кухня, несмотря на вонючий жир, удовлетворяла его; солома, кишевшая паразитами, была для него вполне хороша. Никогда он не роптал на дисциплину и на начальство, никогда не читал газет. Неряшливо одетый и обутый, он старался не быть замеченным, походить на всех, иными словами — ни на кого.

А между тем ему было тридцать лет, и он имел свои желания и вкусы. Его любовница, оставшаяся там, в Париже, не присылала ему ни сантима. Четырех су солдатского жалованья было недостаточно, чтобы утолить жажду, которая подчас сильно давала себя знать, в особенности по вечерам, когда с двумя-тремя земляками он заглядывал в слабо освещенную съестную лавку, где торговали вином.

Все же он как-то устраивался, — работали другие.

Он отмалчивался, Пти-Луи. Не читал, не переписывался, не насмехался и был по-своему счастлив.

В один из голодных дней, на скамейке за церковью, он познакомился с женщиной, няньчившей ребенка. Разговорившись, обменялись несколькими отрывочными фразами. Она оказалось вдовой моряка; ее сын находился где-то на фронте, а она служила у какого-то буржуа.

Зубоскальство Пьера-Луи произвело впечатление на провинциалку. Они стали встречаться. Это была сорока-сорокапятилетняя толстуха с отвислым животом и большою грудью. Став любовниками, они отдавались друг другу в темных каморках позади помещения для посетителей. Она угощала его ситром, селедкой, пряниками местного изделия. Всегда с готовностью ссу-

жала франковыми монетами. Писала ему, когда что-либо лишало ее возможности явиться на свидание, оставляла ему в съестной лавке, куда он приходил по вечерам, письма, полные всяких нежностей, с приложением департаментских бонов. Он стал играть в карты, как человек не стесненный в деньгах, но осторожно; пил сколько хотел, но никогда в пьяном виде не показывался на улицу, ни днем, ни вечером. Никакого шума, никаких историй: этот апаш понял, как должен вести себя, чтобы жить счастливо, находясь в армии. Воинская махина — загадочный сфинкс — раскрыла свою тайну этому одноглазому Эдипу, — и без всяких усилий с его стороны.

Так как Пти-Луи не умел писать как следует или уклонялся от этого, его любовную корреспонденцию вел Марсо. Он составлял эти письма точно так же, как и официальные. Сидя верхом на соломенном тюфяке, при свете огарка он строчил на рассвете послание за посланием:

«Его величеству королю Бельгии... Его нижайший слуга».

Или: «Дорогая моя, я в отчаяньи, что не видел тебя вчера...»

Или: «Господин генерал...»

Или: «Господин президент...»

Он выводил буквы за буквой крупным почерком и делал это медленно, как двигался, как ел, как соображал. Окончив письмо, он перечитывал его вслух с важным видом, вытянув шею вперед и согнув могучие плечи, точно ему наваливали на спину тяжелый мешок с зерном.

— Он помогал отцу, — пояснял он в заключение,— когда тот вышел на пенсию... Его отец был мэр...

Товарищи издевались над его претензиями и над ошибками речи, но в глубине души поражались цельности этой фигуры.

Часто во время таких бдений налетал Шантриль. Он приходил в ярость, гасил свечу, разгонял ухмыляющихся солдат, пронзительным голосом напоминал об уставе, об опасности. Потом, вернувшись к себе в канцелярию, диктовал записки в штрафной журнал своему писарю; Шантриль разыгрывал из себя офицера и имел делопроизводителя, которого звали бумагомаракой и еще — Очкастым. Положительно у капрала были развязаны руки, благодаря маленькому лысому человечку, молчаливо улыбавшемуся сквозь очки и, казалось, вечно ожидавшему каких-то приятных событий. Всей своей фигурой Очкастый как будто говорил: дайте мне только остаться одному...

В зависимости от того, был ли Виро в пуританском расположении духа, или настроен меланхолически, везло ли, или не везло делопроизводителю коменданта в покер, провел ли комендант счастливую или неудачную ночь в объятьях своей любовницы-певички, Марсо Лароз оставался на свободе или попадал на гауптвахту — в лачугу без крыши, охраняемую ополченцем-бретонцем.

6

Местности теперь не узнать: она вся преобразилась. Кто бы мог подумать? Болото стало портом. Флаги мореплавателей всех стран плещутся, расцвечивая стальное небо. В воздухе постоянно чувствуется что-

то празднично-приподнятое. Сирены хрипят, воют, разговаривают на своем языке. Гудки сверлят время.

Даже за мол доходят суда с небольшим тоннажем. Они бросают якорь в ил, и подъемные краны лебедок шарят в их трюмах, выпотрашивают и выгружают их содержимое на Рыбацкую набережную.

По насыпям с обеих сторон канала протянулись рельсы. Там маневрируют вагоны и подъемные краны; взяв ружье на плечо, проходят строевое учение: Пол-оборота... двадцать шагов бегом марш... стой!.. Пол-оборота... бегом марш!

Канал мало-по-малу удалось восстановить и продолжить. Жизнь ворвалась сюда с двух сторон: через окованные металлом ворота шлюзов и по железной дороге, проложенной на северном берегу. Застоявшуюся воду бороздят носы голландских парусников, которые передвигаются на буксире. Пузатые габары, куттеры, трехмачтовые баркасы, зафрахтованные местными продовольственными учреждениями, колышутся на этой тяжелой мертвенной влаге, возмущая ее зацветающую болотной гнилью поверхность. Звонкие голоса моряков раздаются здесь так же гулко, как в пустом помещении. Однако эхо вскоре исчезнет навсегда, так как берега застраиваются.

Пуская в ход краны, вороты, черпаки, корзины, ящики, пользуясь и паром и мускульной энергией человека, суда изрыгают на заскорузлую траву откосов вплоть до самых кустарников, зловонные кучи, дымящиеся груды. Это — картофель, сгнивший в трюмах захваченных парусников, зерно, перепревшее и проросшее во время затянувшихся стоянок, неизбежных при

подводной войне, мука с судов, получивших пробоины, подмоченная и затвердевшая, как цемент.

Мешки дымятся, тлеют и сами загораются на воздухе.

Марсо, как и все его товарищи, живет в атмосфере теплых испарений, подымающихся облаком над этими отбросами. Чудовищный запах разложения и гари разносится ветром, наплывая волнами на лагерь, на склады, на весь мир. Если бы комендант Туарон подумал хорошенько об этом, он распорядился бы выбросить всю эту гниль в море. Но ему и в голову не приходят подобные мысли.

У него есть другие заботы.

Ему совсем недавно командировали из Парижа курчавого делопроизводителя, который привез письмо от весьма влиятельного лица. («Прекрасные новости! О вас помнят».) Человечек этот обладает целым рядом ценных качеств и совсем не горд. Знает стенографию и в тонкости изучил бюрократическую машину. Комендант сделал его своим главным помощником. В неделю этот курчавый проныра перегнал всех старших сослуживцев. Виро, Бард и прочие уже ничего не значат. Через две-три недели настоящий комендант уже он.

В то время, как Туарон отправляется с учителем Куленом на ловлю форели за восемнадцать километров отсюда, всеми делами вершит ловкий малый.

— ...Очистить все отбросы. Эта зараза станет съедобной. По одной штуке перемоют весь картофель. Мешки перестирают и просушат. В новой чистенькой таре все это будет отослано нашим окопным героям, во

Фландрию и в Артуа. Так-то! И как об этом раньше не подумали!

— ...Мука, говорите вы? Что ж, очень просто. Ее перемелют заново, удалив предварительно сгустки плесени, и смешают в количестве 20% с американской мукой, уже фальсифицированной примесью риса, мела и гипса. Вот вам и выход. Даже для того, чтобы вести войну, необходимо обладать некоторым воображением. Не мало значит и то, что у фронтовиков, живущих все время на свежем воздухе, отличные желудки.

— Какая мерзость! — ворчит Марсо, недовольный тем, что и его «втянули» в эту историю... Ему, мельнику, тошно даже смотреть на это...

Поставили на работу тысячу мужчин и женщин, крестьян, рыбаков, стариков, детей. Они, на ряду с солдатами заняты очисткой. Скоро все эти зловонные кучи гнили, мешок за мешком, картофелина за картофелиной, будут тщательно перебраны до последней. Перед этим упорным трудом отступают все препятствия. Еще несколько дней — и отбросы станут пищей, от которой не откажутся голодные люди.

Канал жил теперь шумной жизнью большого завода. Днем и ночью на обоих его берегах шла суматоха. На фоне труда, смеха и любви возникали своеобразные человеческие отношения.

Семга тоже работала среди грязного сброда, говорившего на самых разнообразных наречиях. Эта сильная женщина в прежнее время весь день таскала на спине корзину с голубыми и розовыми гальками, которые она продавала венгерским гончарам, приезжавшим сюда на сицилийских парусниках и закупавшим этот

товар оптом. Интендантство, набиравшее всех желающих, взяло и ее на работу по очистке, и с этих пор она растворилась в толпе остальных женщин, занятых на ряду с проведением в жизнь гениальной идеи курчавого делопроизводителя еще и удовлетворением мужских страстей. Ее крепкое мускулистое тело вызывало восторги мужчин, которых война лишила наслаждений этого рода.

Семга не отличалась ни избытком стыдливости, ни излишней тонкостью. В ней было нечто животно-величественное, производившее впечатление на многих, но обаяние это рассеивалось, как только она раскрывала беззубый рот, извергая на собеседника потоки пошлого сквернословия, в основе своей, однако, вполне добродушного.

От своих любовников она брала лишь нестоющую мелочь да иногда продукты. Ее баркас в один прекрасный день оказался храмом любви, где находили усладу человек двадцать мужчин, старательно избегавших встречи друг с другом.

Она управляла этим стадом с удивительным чувством справедливости. Милостиво дарила свои ласки беднякам, утешала покинутых, напивалась мертвецки пьяной с «толстосумами».

Мало-по-малу ветры и дожди уничтожили зловонные испарения. Некое подобие порядка воцарилось среди разношерстного сброда, приобревшего военный налет, среди войска, в котором понемногу стали проступать народные крестьянские черты. Но власть Семги нисколько от этого не поколебалась.

7

Однажды утром Марсо-Лароз решил, что он уже давно не бродил на воле. Мельнику не так-то легко отказаться от странствований по пыльным дорогам от фермы к ферме в тележке, запряженной мулами, под звон бубенчиков.

Оба берега канала и близлежащую местность он знал, как свои пять пальцев. Теперь ему захотелось взглянуть на город, скрытый от взоров завесою леса на горизонте. Северный климат был ему не совсем по душе: он не благоприятствовал произрастанию злаков, к которым Марсо питал особенную склонность. На севере почти не сеют пшеницы, и ржи, зато разводят много свеклы. Все-таки он отправился путешествовать.

По мере того, как он удалялся от порта, вязкая, насквозь пропитанная углем почва светлела, твердела. Земля уже не поддавалась под ногами, и ходить по ней становилось все легче и легче.

Мысли резвой вереницей проносились в седой голове Марсо. Какой нелепый труд! Как все это сложно и запутано! Положительно люди не умели толком взяться за дело. Никто из них ни черта не смыслит ни в чем.

А Шантриль, эта гнусная ищейка! Настоящий овод, преследующий тебя по пятам со своим бумагомаракой, со своими штрафами, с мышиными глазками, бегающими точно белка в колесе.

В первую минуту город, как только Марсо заметил его сквозь ветви деревьев, вызвал в нем прилив неожиданной радости. Он напомнил ему Орливаль и Ардр. Порою он оказывался наверху, порою же проваливался вниз, в зависимости от изгиба дороги, кото-

рая то спускалась на запад, то устремлялась в гору, на восток. Иногда он совсем пропадал из виду и вдруг возникал за поворотом, за каким-нибудь мостом, за рощицей. Колокольни вонзались в серое небо над пестрым узором смутно поблескивавших сланцевых кровель и черепичных крыш всех цветов, от красного до мшисто-зеленого.

Марсо продолжал итти, думая о родном Ардре и не видя, что дорога, круто свернув на восток и направляясь к морю, зигзагообразно поднималась теперь по скале, поросшей деревьями, вершины которых упрямо склонялись к востоку.

Минуту спустя Марсо поднял голову: вся местность лежала перед ним словно раскрытая книга. Канал убегал на запад, упорным ветром гонимый назад, к зарослям, где у подножья вязов и берез мелькают кроличьи хвосты, к болоту, где весь день тоненьким голоском кричат водяные курочки. Он продолжал итти. Рослый тощий заяц, описав великолепную кривую вдоль косогора, присел в конце лужайки и, искоса взглянув на приближавшегося к нему человека без ружья, опрометью кинулся в сторону. Сладостное чувство покоя разлилось в груди у мельника. Эти животные, попадавшиеся ему на дороге, присутствие которых он угадывал в окружавшей его со всех сторон сельской тишине, были для него чем-то в роде старых, неожиданно встреченных знакомых.

Вон там, на юге, за горизонтом, в двух-трех днях езды по железной дороге лежит его родной Ардр, где столько деревьев и всякого зверья. Он шел теперь вдоль полуразрушенной стены какого-то парка. Ни души. Зеленые, рыжие деревья и кусты огромной тол-

пою следовали за ним по пятам, опьяняя запахом прелого дубового листа. Услыхав в подлеске чей-то быстрый топот и легкий треск сучьев, он на мгновение выходил из задумчивости, но через минуту глубокое безмолвие, в котором тонули еле различимые шумы, снова обступало дорогу, заброшенную с 1914 года и совершенно заросшую травой.

Вдруг на повороте он заметил офицера, большими шагами шедшего ему навстречу. Офицер, повидимому, спешил куда-то; немного позади за ним следовал вестовой. Это был высокого роста мужчина, смотревший искоса, как заяц, который недавно прошмыгнул перед Марсо. Одет он был почти щегольски; на кэпи у него блестели четыре шнура.

Через минуту он уже расспрашивал Марсо:

— Где мы? Как называется эта местность?

Подумав немного, мельник ответил:

— Он не знает... Право, он не знает!

Приложив руку к козырьку, он улыбался, как бы издеваясь над собственным неведением: он направился в город, а очутился в лесу.

Но над его ухом раздался резкий голос, подхлеснувший его точно бичом:

— Болван!

«Это, верно, комендант», — решил мельник.

И оба разошлись в разные стороны.

Марсо очутился, наконец, на открытой поляне, по которой гулял свежий ветер. Небо показалось ему огромным. Он догадался, что море близко, и, в самом деле, в нескольких шагах от себя увидел безбрежную пелену. Четыре парохода, четыре крошечных суденышка выжидали, покуривая трубку, прилива.

Внизу французский лагерь, растянувшийся по обоим берегам сверкающего канала длинными рядами палаток и бараков, похожих на ящики, окутанный облаком дыма, жил бесшумной жизнью.

Сельский покой, блаженное безмолвие царили над этим далеким уголком земли, где тысяча двести человек надрывались в непосильном труде. Медленно оглядывая окрестность, Марсо-Лароз подошел с опаской к краю скалы, круто обрывавшейся на высоте ста двадцати метров.

Песчаный берег, весь в ряби от последнего набега волн, золотым полумесяцем искрился под неяркими лучами солнца. Плоская поверхность моря чуть-чуть изгибалась под ветром, как босская равнина или мул под ударами плети. Мельник снова перевел глаза на лагерь.

Он не любил, когда стесняли его свободу, но физический труд ему нравился, опьянял его. Он стал пересчитывать крыши. Подумать только: солдатский поселок все-таки вырос из этой топи, из камышей! Что ни говори, молодцы!

Французские солдаты умудрились, как-никак, соорудить на полуосушенном болоте целый завод: они умеют и строить и работать на войну, гром которой доносится издали и которая каждый день требует пищи.

И напрасно их презирают, этих пасынков войны, наряженных в самую разношерстную форменную одежду! Они разгружают вагоны с соломой и зерном и пароходы с углем и заморским хлебом. Они таскают на себе ящики, обитые тонким цинком, в которых из-за океана присылают хрустящий на зубах шоколад и прогорькшее сало. Катают бочки с селедками или вином и

скрепленные двумя визгливыми расползающимися дисками круглые кипы прессованного сена, прибывающие из Ла-Платы, где в совершенстве изучили искусство подсовывать нам вместо фуража топливо.

Вагоны наполняются почти сами собой, образуют целые составы, уходят незаметно, как время. Даже ночью визжат, разевая красные рты, лебедки, так как огромные плетенки, доверху наполненные мелкой угольной пылью, оттягивают им вороты, делающие всего лишь один тур вальса в луже черного масла, перемешанного с зеленой харкотиной. На северной набережной другие неподвижные пасти стерегут темноту: раздетые до пояса люди, стоя в яме, которую сплошь и рядом заливает вода, сажают в вырытые в земле печи круглые ковриги из отрубей; другие, тяжело дыша, месят тесто.

А вон там сыплется на докрасна раскаленные листы звонким дождем кофе, которое потом собирают в коричневые холмики на разостланный брезент.

В другом месте перемалывают овес и маис для лошадей, и так как это зерно прибыло из Америки, союзной или, во всяком случае, дружественной, то его приходится перебрасывать на намагниченных щитах, чтобы извлечь из него затесавшиеся туда гвозди и острые металлические заклепки, которые могут повредить внутренности животных.

Он, Марсо, как раз занят этим делом. Он ссыпает в мешок перемолотое зерно, утопая в облаках мучной пыли и чувствуя себя вполне на своем месте. Это его прямое назначение. В душной горячей атмосфере при свете дуговых ламп он таскает на спине тяжелые мешки: он опять превратился в мельника.

Никто не умеет так, как он, завязывать мешки. Все только диву даются, глядя на чистоту его работы.

Подавляющее большинство его товарищей — горожане. Лишь незначительная часть — землепашцы. Все же остальные — рабочие и служащие из Парижа и Руана, грузчики из Гавра, Калэ, Дюнкирхена — разве могут они завязывать мешки как мельник из центра?

В этой области он не боится никакого соперничества. Он даже придумал себе небольшую статью дохода, помогая за плату товарищам. Так как работают сдельно, то бригада, куда входит Марсо, освобождается на четверть, если не на полчаса до гудка, а Марсо ежедневно зарабатывает на этом восемь су. Ночью он выполняет свой урок, днем пособляет другим. И копит деньги. Трудится, не покладая рук... Настоящий француз.

Эта мысль доставила Марсо удовольствие.

Походные кухни в этот час наполняют воздух запахом смолистых дров и сухих листьев. Аромат кофе разносится вдоль канала, и в такие дни оба берега забывают о вкусе ила и чудовищно стойком зловонии гниющего картофеля: оттуда, со дна болота, куда его зарыли, он, несмотря на ветер с моря, отравляет всю долину.

Марсо прошел еще несколько шагов. В глубине долины перед его взором расстилался другой лагерь. Белые конусы палаток образовывали улицы, площади, скверы с клумбами, на которых из цветов были составлены различные надписи. На зиму строили целый квартал деревянных бараков.

Он уже не думал о городе, утопающем в зелени. Ему захотелось сюда. Этот английский лагерь был для него

настоящим открытием. Несколько минут спустя он уже находился в нем и чувствовал себя как рыба в воде.

Англичане предоставили нам барахтаться в грязи, а сами устроились в местности, хотя и доступной морскому ветру, но вполне здоровой и не грозившей им ни лихорадкой, ни ревматизмом. Вдалеке, на выступе скалы, напоминая собою переселяющуюся колонию муравьев, видна медленная и правильная вереница повозок, которые взбираются наверх. Это канадцы и австралийцы. Как только прибывает поезд с ранеными — их санитарные двуколки уже тут как тут. У них никто не согласен страдать слишком долго.

Мы же привыкли обходиться обозной прислугой и мулами, запряженными в крестьянские возки.

Выходит, значит, что у наших терпения побольше, чем у них. Если англичанам удается управиться со своими ранеными в каких-нибудь два часа, то нам с нашими повозками на это требуется целый день. Впрочем, кажется, и это тоже будет налажено. Курчавый делопроизводитель сказал недавно Шантрилю: «Пора разрешить и этот вопрос».

Марсо подумал еще и о том, как богаты и щедры англичане, если они для пушечного мяса выстраивают такие роскошные помещения. Ветер доносил до него сладкий запах варенья. В золотисто-туманных сумерках вечера военный рожок, напоминавший волынку, посылал в открытое море свои меланхолические звуки. Ничем не обнаруживая своего удивления, Марсо шел между палаток. Он вбирал в себя воздух, насыщенный довольством, аромат табаку, похожего на сухое сено, приглядывался с интересом к чистым мундирам, вытюженным только сегодня. В свое время он видел все

это на зажиточных фермах, в богатых замках, в монастырях. Англичане и впрямь настоящие господа этой войны.

Чистенький солдат попросил у него на память пуговицу. Его ввели в просторную кухню, сверкавшую медной, оловянной и серебряной посудой, угостили крепким пивом и хлебом, который показался ему плохо замешанным и слишком соленым. Он проторчал там довольно долго, пожертвовав половину своих пуговиц новым знакомцам и набив карманы папиросами с медовым вкусом. Он был изумлен, но не подавал виду.

Поздно вечером вернувшись к себе в лагерь, он убедился, что никто не поджидал его. Вагоны были доверху набиты мешками. Мельница и без него работала, как и при нем, с обычными перебоями, паузами, со всегдашним шумом ссыпаемого зерна и облаками пыли.

Манжлен, в эту ночь несший дежурство, возлагал свои надежды на Марсо, который был для него и добычей и развлечением. Ему уже сообщили о самовольной отлучке мельника, и он, вызвав его, грубым начальственным тоном допросил старика. Это сбило с толку Марсо, и он тоже не остался в долгу перед сержантом. Офицер, которому Манжлен донес о дерзкой выходке Марсо, недолго думая распорядился подвергнуть бунтовщика аресту. Дисциплина прежде всего.

Марсо под конвоем двух солдат немедленно отвели на гауптвахту.

На следующее утро комендант, которому не хотелось ни купаться в море, ни отправляться на охоту, ни заняться ловлей форелей, быть может, проведший не

слишком приятную ночь в объятиях своей танцовщицы, решил сорвать зло на Марсо: Виро и Бард в офицерской столовой не раз рассказывали ему всякие забавные вещи об этом человеке. Курчавый делопроизводитель, тоже избрав Марсо мишенью своих насмешек, разукрасил историю с бунтом, и без того достаточно фантастическую, еще целым рядом почерпнутых у Шантриля подробностей, касавшихся не только личности мельника, но и настроения всей части.

Тлетворное влияние Марсо могло распространиться и на других солдат. Это надо было немедленно предотвратить. Туарон распорядился ввести обвиняемого.

— Привет честной компании!— сказал Марсо, входя с кэпи в руках.

Он не был неприятно поражен, узнав в Туароне сердитого офицера, которого повстречал накануне.

С трудом, как и все присутствующие, подавляя в себе желание расхохотаться, комендант строго произнес:

— Стать смирно!..

Как? Вот это и есть Марсо-Лароз, дерзкий мятежник, столько раз попадавшийся в самовольных отлучках? Перед ним стоял пожилой человек, сутулый, оборванный, смотревший на него изумленно насмешливым взором, грязный, лукавый бродяга, страдавший одышкой.

— Стать смирно! — повторил сержант Кулен.

Марсо узнал его: это был учитель в одной из деревень поблизости Ардра. Он сделал ему дружеский жест рукой и, немного выпрямившись, с улыбкой попробовал объяснить окружающим:

— Ему уже невмоготу... Понимаете ли?.. Не настоящее это дело...

— А, вот как, любезный...

Как только Туарон принимался ораторствовать, он начинал свои периоды фразами, как будто заимствованными из водевиля.

— А, вот как, любезный... Вы уже не хотите служить. Что же, посмотрим... Гм... Гм...

Он разразился целой речью, закончив ее довольно грозно:

— Что это означает?.. Мы все здесь защищаем родину. Одни сражаются на фронте, другие работают в тылу. За спиною каждого фронтовика должно быть, по меньшей мере, четыре человека. В Англии на каждого бойца приходится пятнадцать таких человек. Гм... гм... гм!.. Мы из числа тех, кто, находясь в тени, незаметно выполняет свой долг. Гм! Тем не менее это столь же почетная задача, как и сражаться на фронте. Гм! Кой чорт! Надо работать! Работать, не покладая рук!

Он посмотрел вокруг. На физиономиях присутствующих он увидел улыбку плоского восхищения, которым эти люди покупали себе право быть его прислужниками. Этот маленький деспот, думавший главным образом о своем чреве, имел целую свору придворных льстецов.

Его глаза еще раз устремились на Марсо-Лароза, который продолжал улыбаться своим собственным мыслям. Туарон увидел в лице этого упрямца воплощение всей той враждебной солдатской толпы, инстинкты которой он призван был укротить.

— Марш отсюда! — сердито скомандовал он.

Но мысли его были уже далеко. Он думал о своей любовнице, жившей в маленьком городке, в нескольких километрах отсюда. Мечтал о том, как хорошо будет с несколькими друзьями устроить прогулку в окрестности. Его птичья голова вмещала только приятные вещи. Этот сухой и властный человек, по общему признанию, был редкий мастер изобретать всякого рода развлечения.

Марсо показалось, что Туарон является представителем таинственной силы, управляющей всей массой. Эта сила принимала внушительные размеры благодаря тому, что он, Марсо, приблизился к ней вплотную. Отечество, закон, общественная жизнь — все это заключает в себе нечто почти божественное и всегда, по какому-то неизъяснимому праву, торжествует над тобой. Им приходится все уступать, все прощать, а почему — неизвестно. Быть может, в силу вынужденного подчинения неимущих, забитых жизнью людей власти денег. Эти не совсем ясные мысли, нахлынувшие на Марсо в комфортабельном помещении канцелярии и как будто подсказанные самой обстановкой, в которой он теперь находился, глубоко взволновали его. Да, это было, повидимому, так.

Он вышел, повинуясь команде, и стал дожидаться за дверью решения своей участи.

Что же, если этот человек не желал работать, его научат уважать дисциплину. Виро, с легким облаком грусти на лице, отвел на гауптвахту старика, все еще улыбавшегося при мысли об этих благовоспитанных людях, которым он был подчинен.

«Вот дурак! — думал офицер. — Это какой-то блаженный».

Марсо каждое утро должен был проходить военную муштру. Началось с того, что его винтовка куда-то запропастилась. Он не мог сказать, что с ней сталось. Разумеется, у него не было достаточно свободного времени, чтобы изучить тонкости ее устройства: все эти скобы, отверстия, пружины.

— На кой чорт мельнику с а м о п а л?

Он оставался равнодушен и к выговорам и к чтению грозных статей устава. Пришлось волей-неволей дать ему другую винтовку. На это ушла целая неделя всяких совещаний, рапортов, осмотра цейхгауза.

В ту пору на западе канонада становилась все слышнее и слышнее. Двадцать первый по счету военный корабль был потоплен чуть ли не в порту. Людей, и без того выбившихся из сил благодаря хозяйственным работам, держали все время под ружьем, подвергая бесчисленным инспекторским смотрам. Поэтому винтовка, утерянная Марсо, на протяжении целой недели угрожала превратиться в стихийное бедствие для Европы.

Мельник с набитым щебнем и песком ранцем и винтовкой образца семьдесят четвертого года подвергался ежедневной муштровке. Щеголеватый сержант, с ремешком под подбородком, стоя в центре правильного круга, проходил с ним все строевое ученье. Звали сержанта Ботю. До войны он служил кучером в одном парижском извозопромышленном предприятии.

Его резкий голос раздавался над Марсо, как щелканье бича. Вся война для этого человека сводилась к упражнениям с винтовкой и внедрению в сознание солдат внешних знаков чинопочитания.

Анри Марсо, призыва девяностого года, сгибаясь под тяжестью ранца, шагал по грязи, утопая по щико-

лотку в черном месиве, ходил и бегал, выбиваясь из сил по кругу, как в давильне лошадь с завязанными глазами. Он с трудом научился ружейным приемам и фехтованию. По утрам, наработавшись как следует, он маршировал два часа, под командой сержанта, обучался поворотам, стрельбе, обращению со штыком, торопясь выполнить все, что от него требовали, под градом насмешек, окриков и чисто извозчичьей ругани. Он должен был проделывать все это и по вечерам, если такая фантазия приходила его мучителю. Это было очень тяжело, потому что камни сквозь брезентовый ранец острым ребром впивались ему в спину, и потому, что сознание мельника плохо мирилось со всей этой процедурой, он не мог понять, в противоположность Ботю, зачем нужно делать на ходу пол-оборота, останавливаться перед стеной, да и всей остальной премудрости. На ночь его с несколькими товарищами запирали в полуразвалившуюся лачугу, служившую гауптвахтой. Это было самое лучшее время для заключенных: при свете огарка они играли в карты, распивали с часовым вино, говорили по душам или спали, если только их не будил своими выкриками какой-нибудь несносный пьяница.

8

В этой странной тюрьме находился также молодой солдат, который, потому ли, что у него не было денег, или потому, что он был болен, не хотел принимать участие в картежной игре. К козырьку его кэпи, треснувшему посередине, был прикреплен плетеный ремешок, какие носят в африканских войсках. И козырек и ремешок он унаследовал от товарища, убитого на фрон-

те, и суеверно хранил их, хотя ничего, кроме неприятностей, это ему не приносило. Шантриль, в самом деле, не спускал глаз с солдат, позволявших себе подобные вольности. На первый взгляд он будто даже относился к ним снисходительнее, прощая им многое, за что он взгрел бы всякого другого. Но как только предстояла «отправка» на фронт, он придумывал всевозможные уловки, чтобы в первую очередь ушли они. Офицеры, повидимому, были вполне согласны с этим способом предотвращения всяких историй.

Кламар — это была фамилия молодого человека — не проявлял никаких признаков непокорности, скорее наоборот. Ему было двадцать три—двадцать четыре года Он был влюблен, влюблен до безумия и буквально чахнул в разлуке. Когда Марсо-Лароз во время коротких передышек усаживался рядом с ним на порыжелую траву откоса он не отстранялся от старика. Понемногу они свели знакомство. Марсо выслушал историю Кламара и только покачивал головой, когда другие надрывались от хохота при виде этого василька, попавшего в навозную кучу.

На севере Кламар несколько месяцев назад встретил одну из тех рыбацких дочерей, блондинку с томным взором, кроткую и тихую, каких не найдешь в центре Франции. Звали ее Марго. Он бредил при одном воспоминании об ее длинных, похожих на лен волосах, о голубых жилках, просвечивавших сквозь прозрачную, беднорозовую кожу, об ее бесконечной нежности и доброте.

Он работал в Париже могильщиком — профессия не слишком блестящая, но довольно доходная и почти не знающая безработицы. Для девушки он был хорошей

партией. «Когда все это кончится, — говорил он, — они поженятся».

Роман их внезапно прервался, потому что наши войска, которым на смену пришли англичане, были переброшены на другой участок. Кламар не нашел в себе силы противиться искушению повидать свою белокурую возлюбленную. Он самовольно отлучился из нового лагеря и хотел пробраться в деревню, где жила Марго. «Ростбифы» поймали его и доставили обратно как беглеца. Ему пришлось предстать перед военным судом.

Но разве это имело для него значение? Наказания для таких людей — ничто. Они привыкли ко всевозможным лишениям. Но Марго нехватало ему больше, чем свободы, и он не представлял себе ясно, что заключение в тюрьме находится в какой-то реальной связи с его подругой, так покорно и так страстно привыкшей отдаваться его ласкам.

И вот Марсо, не кто иной, как Марсо, насмешник с мозолистыми руками, молчаливый простак Лароз, один, повидимому, сумел понять горе молодого человека.

Был, впрочем, еще офицер, принявший участие в Кламаре — Бараль, фламандский барышник и мясник (два шнура!), заведующий хлебопекарнями. Он всеми средствами старался облегчить участь влюбленного солдата. Кламар был у него в команде, а он считал для себя долгом чести выгораживать своих подчиненных, хотя бы они заведомо никуда не годились.

К несчастью, за дело Кламара взялась жандармерия. Это было хуже, чем сотня улик. Когда эта махина пускается в ход, от нее уже никак не спасешься. Кламар не мог увильнуть ни от военного суда, с его молниенос-

ными приговорами, ни от наказания, преследующего прежде всего цели устрашения.

Бараль всячески старался оттянуть этот момент. Тут уж было задето его самолюбие. Шутка ли сказать, из могильщика, иными словами — из рядового землекопа, он сделал хлебопека!

У него были, по его мнению, все основания гордиться этим.

Могильщик печет хлеб! Этого можно добиться без особого труда, но при одном условии: если им руководит опытный начальник.

Все это не так уж сложно: смешивать разных сортов муку, месить тесто. Набирают в канале воду, мутную, жирную, соленую, загрязненную отбросами с пароходов (огонь обеззараживает все!), засыпают в квашню муку, извлеченную с затопленных судов, прибавляют к ней американскую рисовую пудру — и дело готово!

Бараль, с синей книжкой в руке часов около пяти вечера, ежедневно разглагольствовал, давая своим подчиненным ценные указания.

Он также научился ремеслу на практике. Он в точности знал, как смешивают муку, месят тесто, ставят закваску, как взвешивают форму, как топят печь и поддерживают в ней определенную температуру, как сажают хлебы. Он кичился перед старыми интендантскими унтерами, перед мастерами:

— А, каково? А ведь я совсем не специалист!

За спиной у него покатывались от хохота, издевались над его синими книжками. Если бы не страх перед судом, их давно бы швырнули в розовые пасти походных кухонь, изрыгавшие в ночь языки пламени. Невоз-

можно было ликвидировать все последствия нелепостей, которые бывший мясник заставлял проделывать солдат, добровольцев и даже настоящих профессионалов, терроризованных вспышками его гнева: приходилось волей-неволей отправлять на фронт хлеб чернее угля и по твердости не уступавший кирпичу.

К счастью, Бараль с наступлением сумерек впадал в состояние радостного опьянения, избавлявшего хлебопеков от его теорий, — теорий, за которые нельзя было признать ответственным его одного, ибо они исходили от интендантских генералов, старых артиллеристов, окончивших в свое время политехническую школу, испекавших на бумаге при помощи сложных выкладок великолепный хлеб.

Впрочем, Бараль даже после того, как он охладел к своим «р а ц и о н а л ь н ы м т е о р и я м п о х о д н о г о х л е б о п е ч е н и я», сохранил прежнее расположение к Кламару и не скрывал своей симпатии.

Пять часов вечера на берегу моря были лучшим временем. Порывы ветра, дувшего беспрестанно, ослабевали. Люди, склонные к легкой грусти, в роде Виро, не отрывали взора от обагренной закатом поверхности волн, под которыми скользили, быть может, подводные лодки. Шантриль в эти часы предавался философским размышлениям. Он созерцал свой аперитив: густую, как соус, настойку из горечавки, заменявшую ему недостающий абсент. Марсо на час, а то и на два уходил по направлению к каналу.

Солдаты ужинали, сидя у воды, на северном откосе, окарауливаемые часовыми с шашками наголо. Дисциплина осыпалась, как песок, сквозь пальцы рассеянных унтер-офицеров. Длинная вереница чаек, качаясь

в молочном небе, улетала в море, окрашенное в розовый цвет. Мошкара приступала к своему обычному концерту.

В один из таких вечеров Кламар с изумлением увидел свою юную подругу в толпе местных жителей, для которых ужин солдат на порыжелой траве насыпи был настоящим событием, а прогулка арестантов вокруг здания гауптвахты — ни с чем несравнимым зрелищем.

Марго ежедневно приходила сюда. Она издали смотрела на своего возлюбленного и посылала ему воздушные поцелуи, как говорится в тех местах — делала ручкой. В конце концов им удалось встретиться.

Часовые бретонцы, тоже подпавшие под размягчающее влияние сумерек, предоставляли влюбленным наслаждаться обществом друг друга.

9

Марсо-Лароз вышел из-под ареста в один день с Кламаром. Но молодой человек не вернулся в лагерь. Его под конвоем двух жандармов должны были препроводить на пересыльный пункт.

На вокзальной платформе его уже поджидали Марго и мельник. Но им ни одним словом не удалось обменяться с Кламаром. Поезд тотчас же укатил по новопроложенной колее. Песок, который с моря нанесли сюда арестанты, золотой лентой протянулся в черном мире железнодорожного полотна. Красный фонарь еще долго виднелся между двух блестящих рельсовых полос, чья-то рука, высунувшись из окна вагона, через минуту беспомощно повисла, — и вот уже ничего не осталось от поезда, кроме гула, заглушавшего и отдаленную канонаду, и шум морского прибоя, — гула, за-

ставлявшего сжиматься их сердца, но вскоре расплывшегося, слитого со всеми окружающими звуками.

Марго, с мокрыми от слез глазами, распрощалась с мельником, все время хранившим молчание.

Он возвратился в лагерь задумчивый. Лицо его как-то потемнело, приняло мрачное выражение, две глубокие морщины лишили его обычного добродушного вида.

Шантриль встретил его назиданиями:

— Ступай сюда... Видишь, к чему это тебя ведет... Ты все валяешь дурака... Ничего не попишешь! Надо работать. Все мы здесь трудимся для общей цели, одушевлены общим идеалом... Исполняя требования дисциплины...

Капрал болтал что-то не совсем вразумительное. Он был рассеян: его мысли были заняты какой-то комбинацией, клонившейся к удовлетворению не то его обжорства, не то его честолюбия.

— ...Есть тут письмо, — осторожно и вкрадчиво подал свой голос писарь, заметив замешательство начальника и опасаясь прежде всего для самого себя последствий его скверно построенных периодов.

— Да, что-то тут настрочили тебе, Марсо, — со вздохом подтвердил бывший кабатчик Шантриль.

Старик продолжал стоять неподвижно, казалось, держа за плечами свой неизменный груз и подавшись корпусом вперед, как это делают крючники. Руки у него висели, точно плети, голова оттягивала мускулистую шею, на которой напряглись все жилы.

Не торопясь, он взял конверт и распечатал. В письмо был вложен денежный перевод. Без видимого вол-

нения Марсо прочитал послание, подумал немного и произнес:

— Отошлите это обратно... Он не хочет... Денег от брата он не возьмет никогда.

И все с тем же выражением на землистом лице вышел из канцелярии.

Решив, что он начинает и в самом деле сходить с ума, его назначили уже не на мельницу, а на самую черную работу, на которую ставили «пропащих» людей.

Это было, однако, по тому времени сущим кладом, и Марсо отнесся к порученному делу вполне добросовестно. С утра до вечера он вилами раскидывал по дорогам щебень и шлак, засыпая ямы и выбоины. Ему нравились вилы, и он объяснял всем их преимущества, наступая сапогом на покривившийся зуб, чтобы придать ему надлежащую форму. Работая, он подолгу размышлял о своих личных делах.

Он научился теперь несколько умерять резкий характер своих суждений, впрочем немногословных, главная сила которых заключалась в их сжатой образности. Он понял, что есть нечто посильнее нашей личной воли, что отказ от свободы — еще не все (к этому можно кое-как привыкнуть), что существует еще над Манжленом, над Шантрилем муштра Батю. Он стал осторожнее и даже таинственнее. Считал нужным скрывать от всех насмешливый огонек своих глаз. Пти-Луи начал казаться ему одаренным сверхъестественными качествами.

Он уходил к каналу, к Семге, к английскому лагерю, куда-то в поле, часто исчезал посреди бела дня, пропадал по целым ночам, возвращался только на рассвете.

Солдаты были довольны, что Шантриль лишний раз

оказывался в дураках. Мельник явился мстителем за них всех, обезличенных, покорных. Незаметным образом он стал олицетворением того, о чем они мечтали. Ни кто иной, как этот туповатый, но в основе лукаво-добродушный шут издевался над начальством, и притом безнаказанно. (Вся заслуга заключалась именно в этом.)

У него появились враги: кое-кто упрекал его в том, что он служит «ростбифам». Это было позорным перебежничеством: француз не должен был служить англичанам, этим счастливым соперникам. В съестных лавках, в кабачках, где у не слишком чопорных девушек можно получить пиво, сидр, коктэйль и любовь, эти длиннозубые занимают все места, так как платят очень хорошо, между тем как француз имеет всего четыре су на выпивку.

Мельник пожимал плечом, подбрасывал одним движением невидимый мешок, который всюду таскал на спине, закусывал лиловые губы и отмалчивался, так и не объяснив никому своих отлучек, продолжавшихся иногда по нескольку дней.

Он шатался по окрестностям, бродил по проселкам, жил по ночам загадочной жизнью, а утром возвращался к себе в барак или в палатку. На рассвете его заставали сидящим верхом на койке: он писал старательным почерком при свече официальные письма и частные для Пти-Луи. Окончив, он читал вслух места, казавшиеся ему наиболее удачными. Над ним подшучивали, восхищались им или поругивали его, но никогда не предавали, потому что он делал капрала всеобщим посмешищем, когда говорил подражая ему:

— Плевать я хочу: у меня красавица-женка!

10

В то время, как Шантриль, Манжлен пьянствовали, а Ботю усердствовал, муштруя несчастных новобранцев, плешивый писарь, Очкастый, как звали его здесь, оставался в лагере. В его мрачной одинокой душе накапливались отвращение и ненависть ко всему окружающему в таких размерах, что их хватило бы на несколько жизней.

Под бескрайным ветреным небом во всей своей неприглядности раскинулся лагерь с деревянными бараками, палатками, с двумя улицами — Марнской и Изерской, — с утоптанным однообразным грунтом, сквозь который, несмотря на чудовищные усилия осушить почву, все время как из губки проступала вода.

Виро регулярно заходил сюда, но ужасающий запах настоящего звериного логова, резкий ветер, гулявший по болоту, неизбывная грязь под слоем шлака всякий раз отпугивали его. Вдвоем, Виро и Очкастый, беседуя, уходили тогда к откосам канала, выложенным щебнем.

Писарь рассказывал офицеру о всех нуждах части.

Идя рядом, они обсуждали последние статьи Барреса, свежие новости с фронта, но вскоре писарь с горечью заговаривал о том, что волнует его больше всего.

— Солдатский паек слишком незначителен, — вырвалось у него вдруг. — Уж не для того ли это делают, чтобы приятно пощекотать самолюбие англичан, на глазах у которых все это происходит? Не для того ли, чтобы доказать им, что мы не швыряем их денег на ветер, нам дают заплесневелый хлеб, тухлую треску,

вонючую марокккскую баранину? У неприятелей паек военнопленных сплошь и рядом лучше. Похоже на то, что нарочно портят продукты — все эти пересушенные овощи, бобы, которые даже лошадям не перегрызть... Картофель, проросший в трюме... Каково это есть человеку, изнуренному караулами, спящему чуть не на голой земле, целый день таскающему на себе тяжести, выбивающемуся из последних сил, выполняя поистине каторжную работу?..

— Какой вы софист! — возражал Виро.

Он подымал кверху руки, словно желая заткнуть себе уши, и ускорял шаг, но собеседник, не замечая его недовольства, продолжал:

— Когда на дворе стоят холода, круглые сутки идет дождь и грязь на улице такая, что ноги увязают чуть не по колени, нам выдают всего пятнадцать кило угля на тридцать человек! А в жару, когда пыль с пересохшего болота набивается в легкие, нам отпускают на каждого всего два литра воды. Чтобы помыться, надо ждать дождя, а между тем море в шестистах шагах. И все же люди умудряются работать даже при таких условиях.

— Вы циник, — бормотал Виро.

— В часы отдыха, правда, они расходятся по домам. Тут-то и нужно было бы дать им немножко покоя, тепла, семейного уюта, — словом того, что скрашивает жизнь. Солдат на чужбине жадно ищет хотя бы иллюзии этих благ, но не находит ее ни в многолюдном кафэ ближайшего городка, ни в деревенском кабачке, где из-под полы торгуют вином. Они пьют, скажете вы. Что ж, это правда. Еще никогда не поглощалось, несмотря на все наивные приказы, столько алкоголя,

как с начала войны. Солдаты почти и не скрываются, когда на дне стакана ищут утешения, благодетельной иллюзии... Как можно лишать их этого?

— Вы их оправдываете...

— Паек слишком мал: нужно какое-то дополнение. Холод сковывает тело: хочется согреться. Люди вином компенсируют недостаток еды и тепла. Солдат беден, как церковная мышь. Пособия, выдаваемого семье, не хватает. Хорошо тому, кто отложил себе заблаговременно деньжонок на черный день, кто может покупать все необходимое. Хорошо привилегированному чиновнику, получающему жалование. Хорошо вообще всякому, кто получает что-то, но каково остальным? Остальным, если только они не занимаются воровством, приходится подыхать с голоду. Вот этим-то надоело играть в солдатики. Имейте это в виду!

Виро начинал нервничать. Все эти сетования представлялись ему вполне справедливыми, но что тут можно было поделать? Кроме того, такое критическое отношение к военной службе у простого солдата казалось ему чем-то неестественным, даже преступным.

— До свиданья! — грубо обрывал он Очкастого и торопливо удалялся в поле, чувствуя, как кровь стучит у него в висках.

Бледный солдат, которого они никогда еще не встречали, как-то попался им навстречу. Виро произнес довольно громко:

— Вот этот совсем не кажется несчастным!

Солдат шагал, тяжело упираясь широкими ступнями в затвердевшую грязь, передвигаясь как заводная кукла. Совершенно выгоревшие плисовые штаны обрисо-

вывали худые ноги. Он толкал перед собою тачку. На болезненно желтом лице беспрестанно мигали маленькие глазки. Он шел машинально, опустив плечи, крепко сжимая ручки тележки. Безжизненные черты этого еще безбородого юноши застыли словно навсегда, и только угрюмо опущенная голова слегка вздрагивала при каждом обороте колеса. Вдруг он вытянул губы и начал насвистывать.

— Право же, он ничуть не кажется мне несчастным, — повторил Виро.

— Это труп, — возразил Очкастый, — а между тем ему всего двадцать лет!

В другой раз они повстречали Марсо. Задумавшись, он шел, сутулый, по направлению к лесу.

— Куда он идет? Куда он идет?

Виро старался придать себе гневный вид. Он вспомнил о том, как в Орливале мельник на площади перед толпою женщин поднял его насмех. Он ясно представил себе ярость Туарона, если старик еще раз попадет.

— Марсо мне нравится, — ответил писарь. — Пускай он идет себе, куда хочет. Не знаю почему, но мне кажется, что он является носителем той человечности, которая в конце концов выше всего. Посмотрите на него: даже в этом мундире он остается мельником, мукомолом, как он называет себя. Ни устав, ни законы, ни война ничего не могут изменить в нем.

— Марсо-Лароз, ты — Франция! — крикнул он дрогнувшим голосом.

Мельник ничего не понял. Он только ускорил шаг. А Виро, опасаясь скандала, чуть не бегом бросился в сторону.

Часть вторая

Марсо в тени

I

Когда Шантриль вечером отлучается из лагеря, это является праздником для всех. Солдаты получают передышку до утра, которое опять погрузит их в лихорадочно-нервное состояние. Дисциплина, безраздельно властвующая над грузчиками, пекарями, учителями, — вообще над всеми находящимися здесь солдатами, — ослабевает. Они распивают водку в бараках, слоняются грязные, в чем попало, как школьники, удравшие из-под надзора классного наставника, играют в карты далеко за полночь при свечах, невзирая на строгий запрет: никакого света после восьми часов вечера. (А печи, подъемные краны, сотни всяких машин, изрыгают языки пламени в ночь, словно лагерь иллюминирован по случаю какого-то народного празднества...) Но — никакого света после восьми часов!

В этот раз Шантриль пожелал торжественным образом отметить двадцатилетие своего супружества.

— Плевать я хочу! — весело повторяли солдаты, подражая бывшему кабатчику, — плевать я хочу: у меня красавица-женка...

Они хлопали себя по ляжкам, кривлялись, издевались над Очкастым, сопровождавшим Шантриля, который с молодцеватым видом удалялся, накинув на плечи шинель.

В молодости Шантриль служил гарсоном в «Золотом Солнце» на площади Сен-Мишель. На скопленные

«чаевые» он купил сначала одно «заведение», как говорил он, потом другое. Перебираясь со ступеньки на ступеньку, все выше и выше, он поднялся на самую вершину шинкарской иерархии, и теперь его заведение помещалось уже на бульваре Тампль. Это, можно сказать, настоящий подвиг. Чтобы совершить его, нужно было обладать известной силой воли и незаурядной бережливостью. Если бы кабатчики были столь же тщеславны, как поэты, они бы избрали Шантриля своим королем.

— Плевать я хочу, — говорил он, когда собеседники посмеивались над его бледным, без кровинки, лицом, над маленькими карими глазками с воспаленными веками, над вечно лоснящимся носом, большими оттопыренными ушами и рыжей щетиной, торчащей отдельными пучками, — плевать я хочу: у меня красавица-женка!

Она в самом деле была хороша собой, эта рослая и сильная женщина, с энергичными чертами, больше всего на свете любившая деньги. Он показывал приятелям ее фотографию, которую носил в бумажнике со всякими документами и кредитными билетами.

Ежедневно по утрам он получал от нее письмо с каллиграфически выведенным адресом. Вахмистр, подавая конверт, всякий раз сопровождал это умиленным жестом. Шантриль без малейшего волнения брал послание, но чуть приподнятые брови его выражали улыбку. Глазки на мгновение начинали метаться по сторонам, но он немедленно водворял их на надлежащее место.

С подчеркнутым спокойствием вскрывая конверт, он

церемонно извлекал из него вместе с письмом пятифранковый билет.

— Дополнительное жалованье... — гордо восклицал он.

Затем присоединял кредитку к двадцати, к пятидесяти ранее отложенным билетам, сопровождая это какой-нибудь остротой в роде:

— Это тебе не кроличье дермо, вывалянное в муке.

Он думал: «Ну и поразится же она, когда я привезу ей все эти бумажки до единой. Все наперечет!

— Ничего не попишешь!

Красивая парижанка с отличным почерком ежедневно отравляет разноцветным ядом множество мужчин, которые с восторгом вливают в себя спиртные напитки под ласковым взором волоокой соблазнительницы. Эта рассчетливая Юнона встречает притворно нежными взглядами господина Эмиля, директора фабрики железопромышленного общества, развратника и пьяницу. С жаром пожимает тяжелую руку господина Ахилла, агента полиции нравов. Беседует с глазу на глаз с вонючими, разносящими заразу посетителями, от которых за сотню шагов несет потом и спиртом. Все это — чтобы иметь возможность ежедневно посылать пятифранковый билет своему рыжему супругу, который говорит:

— Я счастлив в браке... Плевать я хочу! У меня красавица-женка!

Уезжая в отпуск в Париж, Шантриль всегда забирал с собой кого-нибудь из товарищей и, не дав ему опомниться, вталкивал его в дверь своего заведения:

— Моя жена!

Ошарашенный неожиданной любезностью, спутник

уносил в своем сердце образ очаровательной кабатчицы.

То, что он был мужем красивой женщины, возвышало Шантриля в собственных глазах.

С целью произвести впечатление на простоватых людей, а отчасти и на самого себя, он сочинил себе какую-то невероятную форму. Он носил лакированные краги и, несмотря на северную грязь, ботинки на пуговицах. Черного бархата штаны были чрезмерно широки в коленях. Из-под синей всегда распахнутой куртки выглядывал пестрый жилет, поперек которого змеилась массивная золотая цепь. Его красноречие овернца, разбогатевшего в Париже, удивляло офицеров, среди которых было много осторожных провинциалов и людей, прикосновенных к литературе. Кроме того, он легко швырялся деньгами. Все это возбуждало интерес к нему людей, продолжавших и на войне оставаться скопидомами. К его болтовне прислушивались, потому что она была довольно образна, говорил ли он по-французски, или на окопном жаргоне.

Солдаты — те просто боялись его.

Его рябое веснущатое лицо с круглыми, вечно шмыгающими глазками, окаймленными красными веками, оказывало на них гипнотическое действие. От его взора не ускользало ни что. Как и все унтеры, постигшие военную премудрость и чувствовавшие себя непогрешимыми, он любил зубоскалить и не лез за словом в карман: это был настоящий парижанин, проведший двадцать пять лет за трактирной стойкой и привыкший ко всяким неожиданностям. Чем могли отвечать на его приправленные остротами разглагольствования все эти

грузчики, пахари и даже горожане, попавшие в чуждую для них военную атмосферу?

Крестьянин и апаш, рабочий и торговец — не было такой социальной категории, которой он не знал бы, чьих слабых мест, привычек и тайных вожделений он не изучил бы в совершенстве. Подходить к каждому с его уязвимой стороны — не в этом ли заключается искусство и Талейрана и кельнера? Влияние этого «типа» на окружающих было так велико, что богатые солдаты, имевшие хотя бы по нашивке, всячески старались подражать ему, заводя себе лакированные сапоги и куртку, распахивавшуюся над цепью настоящего или поддельного золота. Офицеры специально приходили посмеяться его остротам, перенять у него хоть немного его пренебрежения к внешним благам, в частности к деньгам (впрочем, в этом отношении они очень ошибались), научиться у него песенкам, которые он безбожно перевирал. Солдаты, ненавидя его, все же находились под обаянием его личности: они ловили каждый его жест, повторяли все его остроты. Некоторые его выражения облетали не только девятую армию, но даже весь фронт, всю Францию. Встречаясь, его бывшие сослуживцы неизменно приветствуют друг друга:

— Ну и засуха у меня в глотке.

С этой фразой он входил в кафэ, ею он выражал свое желание перевести разговор на другую тему или дерзко обрывал собеседника, которым не интересовался. А окликнутый отвечает:

— Ничего не попишешь!

Это навсегда врезалось в память, вошло в обиход, как слова солдатской песни «Мадлон», возникшей в ту же эпоху, приблизительно в той же самой обста-

новке. Безликий автор, применяясь к вкусам толпы, запечатлел в этих словах, в нескольких непритязательных куплетах цветение эпохи. Очарование посредственности!

Шантриль не всегда был изобретателен. Большей частью он подхватывал на лету меткое словцо и уже от себя пускал его в оборот.

Вероятно, так же творил Гомер.

Это был тип, и притом неподражаемый, разгадавший секрет успеха. Это было совершеннейшее воплощение самой армии, в которой на сто тысяч человек приходится один герой и лишь на полмиллиона попадается один Шантриль.

Такой Шантриль не желал убивать вечер своего юбилея в сырой, пропитанной иодом лагерной атмосфере. Он не имел ни малейшей склонности к меланхолии. Куда же итти? Туда, где веселятся. Надо хоть за деньги купить немного веселья!

Отправиться к Семге? Но то, что было к лицу всяким беднякам и болванам, казалось ему недостойным его положения. Этим мог довольствоваться какой-нибудь Марсо-Лароз. Шантриля не соблазняла и мысль о кутеже, на котором перепившийся Манжлен отвлек бы от него внимание собутыльников. Ботю? Нечего думать о нем. Он так же любит водку, как венгерская или тарбская кляча, которая тащит фиакр в Париже (хотя он воздерживается от пьянства по совсем другим основаниям), и притом с ним неимоверно скучно.

Шантриль без околичностей предложил Очкастому, человеку робкому, покладистому, сопровождать его в некий домик, о котором ходили самые заманчивые

слухи, — в старую матросскую харчевню, носившую странное название «Конец Наружу».

Погода была пасмурная. Стоял густой туман. Они отправились, вполголоса обмениваясь шуточками. Долгое время они шли по плотине, которая болотом вела к шаткому деревянному мостику, но никак не могли добраться до реки. Ее шум слышался где-то в стороне. Огни деревушки, сливаясь в одно сплошное пятно, мерцали где-то за камышами. Что делать? Почва размякала у них под ногами. Вода все прибывала, по мере прилива, и они рисковали совсем увязнуть в болоте. Сначала им было смешно, и они принялись хохотать, но потом испугались и стали звать на помощь. В кустарниках закопошилось зверье. Но прошло еще немало времени, прежде чем их окликнул чей-то голос:

— Вы на охоту или рыбу ловить?

— Мы ищем «Конец Наружу», — ответили они.

Человек подошел, взяв за руку Шантриля.

— А-а! Капрал! Забирай направо!.. Да не бойся!

Они находились в трехстах шагах от моста. Приливом уже захлестывало доски.

— Не бойся, — повторял незнакомец, подталкивая обоих вперед.

В моменг, когда ему нужно было вступить на мост, Шантриль вдруг подался назад. Прибой глухо грохотал в нескольких шагах. Две сильные руки, подхватив Шантриля под мышки, швырнули его вперед. Он упал на доски, поднялся, сделал прыжок и плюхнулся, наконец, в прибрежный ил.

— Другой раз, приятель, — сказал он, со своей обычной наглостью, — толкай не так рьяно.

— Лежать бы тебе в дерме, если бы я стал церемониться с тобою!

По этим характерным для каждого из них фразам оба противника узнали друг друга.

Марсо, отойдя, слился с окружающим мраком.

2

Не без волнения нырнули они в узкий темный дворик. Им казалось, что они находятся в дуле артиллерийского орудия и вот-вот, ликуя, вылетят ядром из жерла навстречу неслыханным наслаждениям.

В проходе пахло рыбацкой харчевней и казармой. Облако табачного дыма плыло навстречу, щекоча ноздри.

Повидимому, это было место сборища бельгийских солдат.

Обоих вошедших втолкнули в закопченную кухню. Подвешенная к потолку красная лампа освещала стол. Люди, облокотясь, сидели вокруг него и пили, беседуя вполголоса. Две молодые женщины в толпе мужчин пронзительно смеялись. Едва Шантриль вошел в комнату, как все поднялись, загремев стульями. Французы кинулись к дверям, намереваясь улизнуть. Все заговорили сразу. Слышались слова: патруль, высадка, свинство... Солдат с багрово красным лицом, прежде служивший в колониальной армии, схватив бутылку, втянул голову в плечи. Его кожа, как у старой кокетки, цвета вишневой настойки, уродливо сморщилась.

— Здорово, молодцы!.. Вольно, вольно... Сегодня я кучу!..

Шантриль предложил им усесться, угостил всех хорошим белым вином. Писарь, примостившись к столу,

уже завязал разговор. Солдаты мало-по-малу возобновили прерванную беседу и, поднимая стаканы, пили за здоровье капрала. Он же, стараясь удержаться на равной ноге, отпускал комплименты женщинам или товарищеским тоном обращался к солдатам.

Немного погодя, усевшись между обеими девушками, он затянул песню. Одна из них была брюнетка, другая блондинка — вероятно, для того, чтобы доказать, что здесь угождают всяким вкусам. Шантриль так хорошо пел песни своей родины, что присутствующие позабыли про его уродливый нос, про глаза, окаймленные красными веками, про его дерзкое зубоскальство. Женщины явно восхищались им. По временам он делал передышку, чтобы глотнуть вина или лишний раз порадоваться годовщине знаменательного события. Солдаты, развесив уши, слушали его, убаюкиваемые голосом, певшим старые песенки о любви, о цветах, о добром вине, и удивлялись, что этот бездушный унтер обладает человеческим голосом и способен петь.

Хозяин, неизвестно почему, достал из футляра красную скрипку и попытался извлечь из нее какие-то звуки. Должно быть, когда-то он играл на этом инструменте. Стаканы дребезжали на столе. Дым трубок густой пеленой повис в невзрачной кухне, которой черные шкафы, рыболовные сети и весла, прислоненные к стенам, придавали причудливый вид. Старуха наполняла стаканы, суетясь вокруг стола, и, причитая на северном диалекте, жаловалась на дороговизну жизни и на английские патрули.

— Замолчи! — прикрикнул на нее муж.

Она хотела усадить его, но он продолжал стоять, хотя у него была всего одна нога и его деревяжка то

и дело скользила по полу. Он опускался на скамью, опять вскакивал и, изогнувшись, как виртуозы на эстраде, снова начинал пиликать.

Шантриль орал:

— Ну и засуха у меня в глотке!

Направо от него сидела блондинка с ярко алым ртом, манившим его, быть может, потому, что она упорно молчала. По левую же руку находилась худощавая брюнетка с всклокоченными волосами, продолговатыми блестящими глазами и смуглой кожей, покрытой пушком. Она была сильно нарумянена и говорила резким голосом. Он отпускал комплименты в стиле, свойственном ему одному. Слово «я» не сходило у него с языка. Всем присутствующим уже было известно, что он двадцать лет как женат на красивой женщине и что сегодня его юбилей. Он заплатил еще раз за белое вино, чтобы запечатлеть это обстоятельство в сознании всех, и затянул популярную песенку.

Все подхватили знакомый мотив. Вдруг старуха сорвалась как ужаленная с соломенного кресла, в котором она было вздремнула:

— Замолчите, замолчите! Если англичане вас услышат, я погибла. Они нас прихлопнут. Ах! Ах!

Она громко заплакала. Старик, подпевавший солдатам, накинулся на нее:

— Заткнись, старуха! Это все порядочные люди. Они у себя во Франции. Долой «ростбифов»!

Он заставлял надрываться свою красную скрипку, отстукивая ей в такт деревяжкой по полу. Солдатские баритоны сотрясали стены низенькой кухни. Казалось, от граненых стаканов исходила какая-то гармония, соединявшая всех этих людей, уроженцев различных

местностей, в одном общем порыве безудержного веселья под предводительством их вчерашнего и завтрашнего мучителя, Шантриля.

В моменты затишья слышны были всхлипыванья старухи:

— Они нас прихлопнут, англичане!

А старик рассказывал:

— Я тоже был солдатом. Я знаю, что это такое... Мне пришлось побывать и под Ларошелью. Славный город...

— Налейте-ка всем по стакану водки! — распорядился вдруг Шантриль.

— Нет, — отказалась старуха. — Мы не держим водки. Это запрещено.

Хозяин вышел из себя:

— Есть, говорю вам! Врет эта стерва. Есть.

Он теперь хриплым голосом подпевал своей скрипке, из которой, несмотря на все старания, не мог извлечь ничего, кроме жалкого визга.

Шантриль швырнул на стол пятифранковые билеты. Он сообщил соседке, что получает каждый день такую бумажку вместе с письмом от своей красивой и осмотрительной жены. Старуха, в конце концев, пошла к шкафу и достала водку.

— Это запрещено, — повторяла она, наливая в стаканы. — Это запрещено... Как бы только не нагряну ли англичане.

Шантриль стал показывать обеим женщинам фотографию своей «половины» и затянул романс, который некогда пел в «Золотом солнце» знаменитый Легаль. В романсе говорилось о незабудках, о ласточках, о трехцветных лентах. Влажным ртом Шантриль целовал

то сонную блондинку, то смуглянку которая висла у него на шее, протестуя в то же время против его вольностей.

Вспыхнувшая неожиданно ссора прервала эту идиллию.

— Я узнал тебя, бумагомарака! — злобно орал колониальный солдат, уже с вечера пьяный.

Его лицо приняло теперь серовато-розовый оттенок и лоснилось как шелк. Глаза, готовые, казалось, выпрыгнуть из орбит, горели яростью.

— Спущу с тебя шкуру, погоди!.. И не думай улепетывать! Шантриль — славный малый, дело известное... Это ты, ябедник, тихоня проклятый, пакостишь всем...

Он сбросил с себя мундир, швырнул в сторону кэпи.

— Погоди, Очкастый! Это все твои происки! Ты отправил меня на фронт... Я побывал там, притворщик!

Заскрипели отодвигаемые стулья. Стол оттащили в сторону, и на пол попадали бутылки. Старуха стонала, точно ей пришел уже конец. Старик, забравшись под стол, сидел на заплеванном полу, продолжая пиликать на скрипке. В общем гаме можно было различить взвизгивание двух-трех струн, на которые изо всех сил налегают смычком.

Шантриль, оттеснив блондинку в угол, нежно сжимал ее в объятьях, продолжая говорить о своем юбилее.

Колониальный солдат разглагольствовал, как присяжный оратор на муниципальных выборах — как он это делал на школьном дворе, у себя дома, в Гонесе, где был огородником до призыва на военную службу.

— Я горнист... Меня назначили сюда. У меня двое ребят. А теперь меня хотят отправить на передовые

позиции!.. Правда, я доброволец... Однажды я свалял дурака и сам попросился туда, но теперь я горнист. Они не смеют посылать меня на фронт! Верно я говорю, товарищи? Все это происки бумагомараки. Шкуру я с него спущу...

— Неужели это так? — удивлялись бельгийцы. — У нас дело обстоит совсем иначе...

Солдаты, желавшие выпить еще и начать игру в карты, были против того, чтобы заводить драку здесь. Пускай спорящие убираются отсюда! Они отступились от писаря, лишь бы получить возможность продолжать попойку и дорваться до карт, хотя отлично знали, что Очкастый ни в чем не повинен перед горнистом и что он, напротив, неоднократно спасал их от взысканий и нарядов.

Спокойствия — вот чего они хотели прежде всего и какой угодно ценой!

Кто-то громко постучал в дверь. Весь домишка загудел, как порожняя бочка. Внутри мгновенно воцарилось гробовое молчанье: люди застыли на местах, задерживая дыхание, стараясь отгадать причину тревоги. Лампа внезапно погасла.

Все ждали катастрофы.

— Вот видите, — произнесла старуха — Я говорила вам. Это англичане.

И с покорным видом уселась опять в свое сломанное кресло.

3

Ничего однако, не произошло. Это не были англичане. Зато четверть часа, проведенные в ожидании, охладили горячие головы.

— Пить! — скомандовал Шантриль, как только снова зажгли свет. — Ну и засуха у меня в глотке!

Стаканы опять наполнились вином. Писарь уселся рядом с слдатом, служившим раньше, судя по фасону козырька и плетенному ремешку, в африканском батальоне.

— Во всем, — говорил он печальным голосом, — виноваты одни офицеры... Шантриль по существу человек неплохой, но он ничего не может поделать. Офицеры поступают, как им заблагорассудится. Меня это не касается, но мне противно, что нами помыкает кабатчик и что он еще заботится о нашем здоровье. Нас здесь тысяча, тысяча двести человек. Все мы измотаны жизнью, выбились из сил. А этот осел швыряется нами, как пешками...

— Он не имеет представления...

— ...Бард, ты знаешь его?

— Командира третьей роты?

— Да. Ну так вот: у него брат — депутат. Только потому его и произвели в капитаны. Он стар и развратен. У него нет зубов, и он похож на седого полишинеля. С людьми он обращается неплохо, даже собственноручно помогает подталкивать вагоны. Но он все время бегает за девчонками, и его редко когда увидишь на службе. Заправляют всем сержанты — Ботю, Манжлен. И посмотрел бы ты как! Шантриль же предпочитает оставаться в тени. Совсем недавно Ботю отдал под суд уже немолодого солдата за то, что тот просверлил бочку и украл два литра водки. А Манжлен кормит здесь целую семейку, обворовывая казну и, не в обиду будет сказано, живет с ребенком, с девочкой лет шестнадцати, не старше. Ты говоришь, Бард — хороший че-

ловек. А по-моему, он первый виновен в том, что солдата подвели под статью и что девчонку заставляют торговать своим телом за хлеб и за водку.

Неизвестно откуда взявшийся Марсо стал деловито наполнять манерки, огромной гроздью висевшие у него за спиной. За каждую фляжку он уплачивал старухе отдельно.

— Это для Луи...

— Это для мастера восьмой пекарни...

— Марсо! Марсо-Лароз! — кричали ему солдаты. — Есть у тебя табак?

Он продал им английского табаку, простого и офицерского, извлекая пачку за пачкой из своих бездонных потайных карманов.

— Не потанцовать ли нам? — предложил Шантриль.

Он первый пустился в пляс, выделывая какие-то невиданные выкрутасы. Его окаймленные кровавыми веками глаза метались, как пойманные мыши. Рыжие волосы щетиной ерошились у него на голове. Он танцовал, как дикарь, подымая кверху руки, и подпевал себе на кантальском наречии, о котором вспоминал лишь во хмелю. Остальные били в ладоши. По временам громкий крик покрывал смутное гуденье, наполнявшее лачугу: это хозяин, лежа на полу и приходя на минуту в себя, присоединял свой голос к нестройному хору. Танцовали попарно и что попало. Парижане горланили, надрывая глотку, а колониальный солдат исполнил, разумеется, танец живота. Марсо, уступив настояниям окружающих, показал, как пляшут «бурэ», которому его научили на берегах Луары.

Шантрилю, между тем, никак не удавалось пленить сердце блондинки. Она уселась рядом с меланхоличе-

ски настроенным писарем. Иногда она обхватывала его шею руками, и Шантриль грозно накидывался на него:

— Как тебе не стыдно?... Ведь я здесь плачу за все!.. Я затеял эту попойку! Бумагомарака!..

Но Очкастый мотал головой и шопотом жаловался соседке:

— Какая грусть... Таковы они все... Офицеры болтаются в тылу, сержанты кутят напропалую. Одни только солдаты не имеют права ни на что... Спать без разговоров! В восемь часов заваливайся на солому и — молчок! Все ужасно, куда ни глянь. А войне конца не видать...

Он выпил еще немного.

— Вы, верно, знаете, — продолжал он после небольшой паузы, возвращаясь к теме, интересовавшей его больше, чем что бы то ни было, — вы, верно, знаете Бараля? Он — капитан, получает около девятисот франков в месяц. Внеся за себя пай в офицерскую столовую, уплатив портному, сапожнику, купив ту или иную мелочь, что может он еще ассигновать на покер, на ликеры? Какие-нибудь жалкие гроши, не правда ли? Однако он играет и не отказывает себе ни в чем. Мало того, он ежемесячно умудряется посылать своей жене ровнехонько девятьсот франков! Каково? Даю вам слово, что это правда. Вахмистр показывал мне почтовый перевод. Хороший муж и человек экономный — скажете вы? Нет, война никогда не кончится!.. Все кругом ловкачи. Все кругом славные люди... Хватит с меня этих славных людей и ловкачей!

Но никто уже не слушал его.

Брюнетка всячески старалась привлечь к себе внимание Шантриля. Напрасно: он, вызывая улыбку Марсо,

все время приставал к блондинке, которая, жеманясь, молча прижималась к плечу ораторствующего писаря.

Колониальный солдат никак не мог успокоиться:

— Я был ранен на проволочных заграждениях... Я горнист. Почему меня гонят на передовые? Ничего не попишешь!..

Бельгийцы вполголоса пели хором «Король, закон и свобода». Они пили пиво в обществе англичанина, который ни за какие блага в мире не прикоснулся бы к этому напитку, не подлив в него коньяку.

Марсо и писарь признавали только вино (спирта ни-ни! Но вина сколько угодно!) и чокались, провозглашая друг за друга невероятно пессимистические тосты. Впрочем, они утверждали, что все это пустяки и говорится просто так, лишь потому, что нечего сказать...

4

— Марсо-Лароз, — бормотал колониальный солдат, — старый скряга!

Он держал мельника за плечи.

Старик кричал, но пьяница настаивал.

Марсо выпил еще стакан, прежде чем уйти в ночь. Он собрал в огромную связку все манерки: получилась чудовищная гроздь, двадцатью ремешками оттягивавшая ему шею и натиравшая спину.

Грубой рукой со вздувшимися жилами он оттолкнул солдата, и тот покатился под стол. Вокруг захохотали, захлопали в ладоши. Но Марсо не хотели отпускать, его удерживали в надежде, что он отколет еще несколько штучек, еще разок рассмешит всех каким-нибудь забористым словечком.

В окнах, обращенных к полю, начинала брезжить бледная заря. Резкий ветер с моря проникал в дверные щели. Лампа почти догорела, и солдаты стали подумывать о том, что пора вернуться в лагерь. Каждодневный труд властно звал их к себе. Мысль о службе тревожила уже всех.

Шантриль принялся еще настойчивее домогаться благосклонности блондинки. Он подливал ей в стакан вина и ликеров, обжигая ей шею горячим дыханием, предлагал самые заманчивые вещи, потом направился к Марсо.

— Ты все торчишь здесь, старый хрыч? Где твоя кружка?

Мельник всюду таскал ее при себе в вещевом мешке.

— На, выпей!.. Сегодня ровно двадцать лет, как я женат...

Марсо, немного охмелев, с удивлением почувствовал, что сзади его кто-то подталкивает. Старуха, встав с кресла, в котором она заснула, чтобы не видеть, как роются в ее буфете, делала мельнику знак уходить, сунув ему в руку ключ.

Он вышел в коридор. Там, в полумраке, его поджидала блондинка. Он сбросил наземь ношу, не торопясь вытер лицо. Нежно держась за руки, они поднялись наверх и вошли в темную комнату.

Немного времени спустя на лестнице раздался тяжелый топот множества ног. Там кричали:

— Где Марсо?.. Он завладел блондинкой!.. Какой позор! Предатель!.. Марсо-Лароз! Марсо-Лароз!

Голоса колониального солдата, Шантриля и хозяина сливались в общий вой:

— Подлец! Подлец!

Стучали кулаками в дверь, хлопали створками, гремели щеколдами и замками...

— Отопри! — рычал хозяин. — Отопри! Я знаю, ты здесь...

Укрывшаяся пара, немного взволнованная этими криками, хранила молчание. Суматоха охватила весь дом. Среди глухого топота ног легко можно было различить сухой стук деревяжки. Продолжая стоять, Марсо чувствовал, как его негнущийся, крепко сколоченный костяк был охвачен нежным телом девушки, которую он сжимал в объятиях. Робкое дыханье касалось его лица.

— Открой! — визжала брюнетка. — Открой, Мари! Это чорт знает что!..

— Открой! — бормотал Шантриль.

Шум и гам не унимались. Чьи-то торопливые шаги слышались и на чердаке и под полом. Стены сотрясались от беготни. Вдруг на лестнице что-то покатилось со ступеньки на ступеньку, кто-то вскрикнул несколько раз, и уже внизу раздался сухой деревянный треск. Затем наступило продолжительное молчание.

— «Он имел деревянную ногу», — хриплым голосом запел колониальный солдат.

Марсо-Лароз уселся на стул. Девушка разделась. Сквозь окно проникал пепельно-серый рассвет. Дорога, которую утренний заморозок подернул тонким ледком, хрустела под подошвами военных сапог: солдаты торопились в лагерь.

— Ведь это я затеял попойку... я затеял попойку, — запинаясь, бормотал внизу Шантриль.

В эту минуту она обнажила плечи. Их белизна казалась горячей. Марсо приблизил к ней лицо, поросшее седой щетиной и колючее, как лукошко с лесными каштанами. Женщина, икнув, отпрянула назад: перед ней был не писарь, к которому ее тянуло.

Мельник медленно простер к ней руки, словно желая согреть их над пламенем. Это тело излучало невыразимо сладостное тепло.

Она еле внятно шептала:

— Я нездорова... нездорова... нездорова.

Он снова уселся и еще долго прислушивался к дыханию, приподымавшему оба ослепительных солнца ее грудей.

Но день властно вступал в свои права. Марсо решил, что ему пора уходить. Шум, произведенный им, заставил ее очнуться: она подняла веки, похожие на лепестки, откинула назад голову, цвета спелых колосьев. Ее подмышка казалась чашей, наполненной чистым золотом.

— ...Ах, — вздохнула она, — если бы ты знал, как я несчастна!.. Я не лгу тебе... У меня есть жених... бельгийский унтер. Но пойми, я дочь содержателя этого притона... Ты ведь не уйдешь отсюда, не заплатив?.. Ах, как я несчастна, как я несчастна!..

Он вынул кошелек и стал класть ей в протянутую ладонь монету за монетой, бумажку за бумажкой, пока она не сочла нужным зажать руку.

Глухой гул канонады, доносимой ветром, замирал у окон, в которых уже разгоралась заря.

Мельник спустился вниз, вскинул на спину ношу и, широко шагая, направился в лагерь.

5

Среди всех этих людей, которых призыв на военную службу поверг в нищету, Марсо-Лароз — богач, Марсо-Лароз не испытывает ни в чем нужды. Он таскает мешки, носит воду, колет дрова. Это почти то же, что на мельнице. Во всяком случае он застрахован от отчаянья и отупенья.

Покончив с работой, он доживает день селянином и мельником. Вот он идет, как всегда, широко шагая, по дороге вдоль канала. Поверхность воды подернута мелкой рябью, и чайки с пронзительным криком ныряют в нее. Вот он уже дошел до затопленного судна и, задумчиво жуя черный хлеб, сейчас усядется рядом с Семгой, если только она одна и чинит какое-нибудь тряпье, или рядом с ползающим по палубе на карачках младенцем, если внизу, в трюме, есть посетитель.

Посидишь вот так на этих досках, послушаешь плеск воды о борт, втянешь в ноздри запах мокрого дерева — и вдруг тебе начнет казаться, что ты в Ардре.

Марсо наблюдает неторопливое течение жизни на обоих берегах канала. Часов в шесть-семь вечера здесь начинается грустное, смутное и копошащееся существование. Дневная работа кончилась, ночная еще не началась. Закидывают свои лесы рыболовы, молчаливые однодумы и мечтатели, привыкшие удить рыбу только в пресной воде.

Очкастый и Виро, прогуливаясь, беседуют. Они жестикулируют, но движения их рук какие-то вялые. Писарь вполголоса жалуется на невозможное положение солдат, и глаза его понемногу разгораются.

— Сейчас,— говорит он внушительно, напирая на каждое слово, — сейчас как раз то время дня, когда

бедный солдат больше всего чувствует на своих плечах бремя войны. Если у него есть хоть капля энергии, он покидает лагерь и уходит куда-нибудь в поле. Зимою в сумерки ему тяжелее всего.

— Как общее правило, ему уже стукнуло тридцать или немного более. У него есть какое-то прошлое. Позднее, когда грубые удовольствия и утилитарная философия завладевают всем его существом или по крайней мере той его частью, которая не будет поглощена удовлетворением потребностей текущей жизни, — он будет крепко стоять на ногах, и ничто его не поколеблет. Но теперь он еще остро реагирует на все: он уязвим со всех сторон.

— Вечер кажется ему бесконечным. Он уходит из лагеря, потому что в бараке, в палатке ему слишком неуютно и он бессознательно ищет хоть крупицу своего прошлого, то-есть того, чем он продолжает жить. Но здесь нет ни малейшей возможности побыть наедине с самим собой. Вокруг кишмя кишит людьми. Один краснобайствует, другой жалуется на судьбу. Третий изощряется в остроумии, хвастается своими приключениями. Только и слышишь: «я! я! я!» А между тем ничего так не хотелось бы, как величественного безмолвия неодушевленных предметов и полного безличия людей. И вот говорю я ему... А он мне отвечает...

— И неизменный припев: «Ах, старина, не везет мне», в устах фаталиста, принимающего как нечто бесспорное, обманчивую теорию везения... Как будто наше чувство справедливости может примириться с тем, что одним на роду написана удача, а другим суждено никогда не знать ее.

— В довершение всего, есть еще и Шантриль...

Очкастый вбирает в себя сумерки. Они, повидимому, вдохновляют его.

— Как только выходишь из лагеря, тебе навязывается в спутники ветер. Какую грусть навевает он! Однако его унылое общество все же можно переносить, хотя бы потому, что он так же поверхностно, как и пешеход, соприкасается со всем встречающимся на пути — с живыми существами, с неодушевленными предметами — и так же безбольно расстается с ними.

— В это кафэ тебя не тянет, потому что там пусто (одиночество, черная птица, нагоняющая страх), а в это — потому, что оттуда доносится пьяный рев (громоподобный гул и винный перегар). Зато маленькие домики вдоль шоссе смотрят на тебя ясным взглядом. Из их дверей вырывается запах подслащенного кофе, в которое влили немного водки. Они зовут тебя, как приветливые хозяйки: «Ну, входи же!»

— Усевшись за столик, он задумывается. Он устал, и ему не слишком хочется говорить. Он смотрит и одними глазами воспринимает окружающее. Подолгу разглядывает и печального пьяницу, который иногда неожиданно вскрикивает, как раненый олень, и сладкоголосого певца, исполняющего уличные романсы, и ушедших в себя игроков, и одиноких посетителей, забившихся в дальний угол. Эти люди, с усами, мокрыми от вина, действующие машинально даже в те моменты, когда ищут развлечений, нисколько ему не противны. Они, подобно ему, ищут чего-то недостающего им — чего, они сами не знают.

— Ветер посвежел. Время сделало новый поворот. Он наскоро выпивает стакан дешевого вина и уходит. Однако он не хочет возвращаться слишком рано: в бараке,

в палатке так неуютно и, кроме того, его могут заподозрить, что у него нет ни денег, ни товарищей.

У Виро вырывается восклицание. Писарь уже не в силах сдержать свое возмущение, он кричит в темноту:

— Вечер тянется мучительно долго для тех, кто не расположен к одиночеству...

Марсо не нуждается ни в ком: он полон собою и своими воспоминаниями. Забравшись куда-нибудь подальше от Шантриля и Манжлена, он обдумывает свои письма. Он напишет т о м у - т о и т о м у - т о — главнокомандующему, министру, президенту.

...Он приносит своим хозяевам сухари и немного спирта на дне вместительной фляги. А когда на скале, обращенной к морю, начинает выть английский рожок, после чего всюду гасят огни, Марсо-Лароз возвращается на вечернюю перекличку в лагерь и там проводит некоторое время, лежа на соломенной подстилке, прежде чем отправиться в свои ночные странствия.

В этих бараках со спертым воздухом первая половина ночи протекает довольно беспокойно. Люди входят, выходят — никак не могут угомониться. И во мраке продолжают бесконечные разговоры. Присяжный краснобай громко ораторствует — об уставе, о нравственности, о войне. «Я! я! я!» — назойливо звучит его голос. Рядом кто-то бубнит:

— Так вот, говорю я ему... А он мне говорит...

В темном, пропыленном углу зарождается робкий шопот, возвышающийся все громче и громче. Через минуту он уже покрывает собой смутный гул, наполняющий барак, становится совершенно явственным:

— Ах, старина! Не везет мне чертовски!

Иногда, в сильный ливень, вода проникает сквозь крышу. Холодные капли упорно падают на разгоряченное тело человека, ушедшего в своих мечтах далеко от действительности. Порою холод пронизывает измученного работой солдата, который надеялся забыться хоть во сне.

Сплошь и рядом крыса начинает грызть хлеб, положенный спящим в изголовье, или вступает под землею с кем-то в ожесточенную борьбу. По временам она затевает любовные игры, но никак не узнаешь, что означает ее писк: до того похожи друг на друга звуки, издаваемые ею в самых различных случаях жизни.

Дверь то и дело открывается, да так и остается распахнутой настежь. Ночь, пользуясь этим, проводит своим ледяным языком по опущенным векам счастливца, уже погрузившегося в теплый океан блаженных сновидений. Иногда же звезды, сверлящие мрак, жужжат подолгу пчелиным роем.

Сверчок — огромный, пронзительный, надоедливый бубенец, торчащий из темноты, как гвоздь из тяжелого ящика. Паразиты за свой счет предприняли целый ряд сложных рейсов: это начинается легким щекотанием и кончается булавочным уколом в кожу неосторожного человека, не сумевшего найти себе лучшее ложе.

И все же! Все же! Милый сердцу мрак! Сладостный мрак, освобождающий от страха перед Шантрилем, перед шнурами, перед уставом.

Спокойной уверенностью он облекает новую жизнь.

В эту пору возвращается Луи-Пьер. Он приносит всякие вкусные вещи, которыми его снабдила добрая женщина, раскрывшая ему свое сердце и свой кошелек.

В эту пору Туарон садится в свое невзрачное комен-

дантское авто и летит — горькая радость! — к окошку со спущенной шторой, Шантриль мечется между Семгой и «Концом Наружу», Бард беззубым ртом целует маленькую любовницу Манжлена, а Манжлен томится где-нибудь в деревне и, устав от ожидания, пристает на улице к женщинам, чтобы прижать, в конце концов, одну из них к своему ожиревшему сердцу...

Сколько еще других тайн открывается Марсо в этом ночном мире!

Чего стоит хотя бы одна Марго!

Подруга Кламара иногда пробирается до самых камышей и вызывает кого-нибудь из товарищей своего возлюбленного, — кого, ей совершенно безразлично, — чтобы попросить у него краюху хлеба. Ей никогда в этом не отказывают.

А Семга! Она тоже занимает немалое место в своеобразном строе ночных отношений, эта потаскуха с хриплым голосом, дающая иллюзию счастья стольким простым сердцам.

Марсо уходит во мрак. Это его царство. Под покровом темноты он обделывает свои дела. Он работает то на того, то на другого и получает за это табак, хлеб, сахар,—что придется. Писарю он ежедневно доставляет белую булку. В дупло старой ивы он кладет кое-какие припасы, которые оттуда извлечет Марго...

Под сенью благожелательной ночи мельник совершает свой обход, таская на спине огромных размеров вещевой мешок, вздувшийся, как туго набитая торба.

6

Ночь кажется еще неприглядней около хлебопекарен, где семьдесят печей разевают свои красные пасти.

Издалека можно разглядеть розовый пар, колышащийся под длинными брезентовыми навесами. За всем этим простирается полоса безмолвия — бесконечные запасы хлеба для фронта: сто сорок тысяч теплых хлебов, выложенных, точно подстреленные русаки, рядком на доски или на чистую солому: ожидают рассвета, когда их отправят на передовые позиции.

— Куда вы? — раздался однажды над самым ухом Марсо резкий голос с гасконским акцентом.

Мельник обомлел, узнав сразу с кем имеет дело. Укрывшись в тени, у входа в хлебопекарни, Бард, по-видимому, подстерегал его.

Отпираться было немыслимо: мельник попался с поличным.

На крик офицера прибежали часовые-бретонцы; со штыками, примкнутыми к винтовкам, они отвели старика на гауптвахту. Ему, как вору, теперь неминуемо угрожал военный суд.

Без особого удивления Марсо на личном опыте лишний раз узнал, что самые естественные вещи приобретают иногда совсем другой смысл. Достаточно лишь того, чтобы власть имущие так пожелали. Хлеб, который, пока он еще окончательно не заплесневел, скармливают лошадям, очевидно, не должен попасть в рот голодным людям.

Происшествие это, тем не менее, заставило его призадуматься, а кое-кому открыло глаза на гибкость и совершенство военного аппарата, о которых никто не подозревал и которые всецело следовало приписать изобретательности одного человека.

В эту злополучную ночь дежурным по хлебопекарням был Манжлен. Бард уже давно искал случая на-

крыть своего соперника на какой-нибудь оплошности.

— Сержант, вы сегодня дежурный?

— Да, капитан.

— Я только что задержал солдата, укравшего целый хлеб... Это не первый случай.... Это организованное хищение казенного имущества.

— ....

— Вы знаете устав караульной службы?

— Капитан, я не могу одновременно находиться всюду... Я... я... я...

Ему хочется сказать, что это не имеет никакого значения, что ежедневно воруют тысячу хлебных порций, что воровство вошло в плоть и кровь каждого военнослужащего, начиная с офицеров, но он не может облечь это в слова. Он беспомощно мнется: « я... я... я...», как северянин, у которого язык с трудом ворочается во рту.

— Предупреждаю вас!

— ...Мне уже нечего терять.

— Нет, есть!..

Это говорится твердым голосом, и свистящее «есть» рассекает воздух, как пуля.

Двое мужчин, каждому из которых скоро стукнет пятьдесят, смотрят друг другу в глаза, как мальчишки, желающие танцовать с одной и той же девочкой и готовые перейти к кулачной расправе.

Бард с лоснящейся физиономией, седой щетиной и темным ввалившимся ртом, откуда вырываются хриплые звуки, держится прямо. Он хотел бы, чтобы маленькая продавщица устриц видела в эту минуту их обоих: его торжество и отчаянье Манжлена, по круглому красному лицу которого градом катился пот.

Как знать, где она теперь? Одно ее интересует в жизни: быть предметом вожделений мужчин. Это возвышает ее в собственных глазах и помогает легче переносить нищету.

Оба ее поклонника одинаковым образом тянутся к ней губами. В такие минуты каждый из них забывает обо всем на свете, отдается всецело во власть иллюзии, верит несколько часов на протяжении дня, что нежное тело юной девушки содрогается от страсти только в его объятиях.

Манжлен, энский мясник, потерял во время войны решительно все. Он оставил в Суассоне целое состояние, нажитое тяжелым трудом. К своим мясным лавкам он присоединил обувную фабрику, приносившую ему крупный доход. Он был барышником, торговцем, промышленником и уже находился на вершине благополучия, когда все это рухнуло: было разрушено, сожжено. Чего не успели захватить немцы, уничтожили французы. Жена и дочь пропали без вести; ему осталось теперь одна лишь ненависть, да привычки обжоры, да гибкая — иногда даже слишком гибкая — совесть.

Прибыв в лагерь, он постарался, как это делали все зажиточные солдаты, найти на берегу болота готовое жилище. Это дом, где мать пьянствует, орет и избивает детей, где дочери вконец измучены нищетою. Манжлен стал кормить и поить их на свои незаконные доходы и получил взамен возможность обольщать себя иллюзией признательности и любви.

Сейчас, стоя на вытяжку перед Бардом, он понимает, что самое главное — это уменье пережидать. Сегодня капитан торжествует, но завтра?.. Туповатый торгаш, он, как подавляющее большинство людей его профес-

сии, полагает, что раз ты уже попался в каком-то сомнительном деле, то лучший выход отмалчиваться. Выдержка — вот тайна успеха. Главное, самому не наказывать себя.

Он опустил руки, опустил глаза. Оставив без возражения реплику Барда, он медленно удалился во мрак. Его шаги глухо раздавались по мощеной набережной канала. Причальные канаты преграждали ему путь, но он умело обходил их. Порывы свежего морского ветра охлаждали его разгоряченное лицо. Он узнавал в темноте каждый выступ, каждый камень и искусно лавировал между покрытыми брезентом ящиками и тюками, сваленными здесь еще несколько недель назад, между лужами и подъемными кранами. Для него тоже ночь была родной стихией. Он продолжал итти, пока не наткнулся на сходни, которые вели к Семге. Он машинально поднялся на борт.

На судне все спало мертвым сном. Несмотря на ветер и дождь, Манжлен уселся на палубе, прижав оба кулака ко рту. В левом боку он испытывал мучительную боль.

«Неужели у меня сердце не в порядке»? — подумал он.

Из трюма донесся мужской храп. Затем вздохнула женщина. Ветер снова уныло завыл вокруг.

Дитя Семги по временам принималось плакать. Манжлен спустился на две-три ступеньки по трапу, прислушался. Все было тихо. Он уснул.

Утром, вернувшись к себе в палатку, он уложил вещи в ранец и стал ждать приказа об отправке.

7

Всем хотелось как-нибудь без огласки отделаться от простодушного вора, Марсо-Лароза. Военный суд был страшилищем даже для Барда, даже для Туарона: они не решались передать на его рассмотрение дело мельника. Заведывающий административной частью тоже не отваживался послать Марсо в окопы. Однако надо было убрать его подальше, чтобы он не попадался на глаза офицерам и в особенности Туарону. Курчавый делопроизводитель сумел и здесь найти выход.

В одно прекрасное утро старику объявили, что его отправляют куда-то на восток, в гурты.

С двумя солдатами, от которых желали избавиться не меньше, чем от него, Марсо побрел по дорогам Пикардии. Это — плодородная страна, находящаяся ниже уровня моря. Долины ее изобилуют ручьями и небольшими озерами. В деревнях, где расположились на постое индусские, африканские и китайские войска, сплошь и рядом можно встретить полусвайные постройки.

По мере того, как подымаешься на восток, в небо, цвета реденькой холстины, ежедневно исходящее мелким дождем, вкрапляются холмы. Вечером горизонт мигает, точно огромный глаз сумасшедшего, и без конца швыряется раскатами грома.

Высокий солдат, гремя подбитыми железом подошвами, тощий, прямой, как ружейный ствол, кашляя ежеминутно, шагает следом за Марсо, который рад неожиданному путешествию, возможности повидать новые края, настоящую землю. Свеже испеченный капрал Пескье сопровождает их к месту назначения.

— Они выпустили меня из кутузки,— говорит он, смеясь,— потому что им понадобился солидный капрал!

Пескье, пьяница и развратник, немного горбат: ранец с трудом держится у него на спине. Во внутреннем кармане мундира он хранит бутылку водки и фотографию деревенской красавицы. Время от времени он извлекает их оттуда, подымает вровень с глазами, обращается к ним с речью, затем отпивает из горлышка на толщину пальца, на полтора. Он пьет, а оба солдата, каждый думая о своем, плетутся по дороге.

Как-то вечером они добрались до небольшого городка. Дома, враждебно настроенные, были безмолвны. С наступлением сумерек обитатели закрывались на все запоры, и город превращался в большое кладбище. Австралийцы, стоявшие здесь лагерем, одни бродили по темным улицам; к поясу каждого дозорного был прикреплен электрический фонарик, который то вспыхивал, то снова гас. С палками в руках, они рьяно охотились на ночных гуляк: это сделалось у них своеобразным спортом.

Повинуясь голосу инстинкта, Пескье повел своих людей на станцию железной дороги. Там всегда найдется пустой вагон и солома, но есть и доверху нагруженные вагоны и туго набитые мешки, ящики, полные бочки, к которым всегда сумеет подобраться изобретательный и смелый человек. При известной сноровке, каждый может там наесться и выспаться, — а ведь это в данное время едва ли не самое существенное. Но вокзал был обнесен проволочными заграждениями, охранялся собаками и людьми, вооруженными с головы до ног.

Пришлось всем троим повернуть обратно, брести под дождем по лабиринту улиц, тупиков, итти задами, по

темным, грязным дворам. Они шли как слепые, ощупывая стены.

Высокий солдат кашлял, кашлял без конца и поминутно отставал.

— Это у меня с Марны,—конфузливо объяснял он.— Но ничего... пройдет.

Блуждая наудачу, они наткнулись на дверь, в узкую щель которой проникала полоска света. Постучались сначала тихонько, потом решительнее. Ноги у всех подкашивались от усталости. Наконец загремели засовы, и женщина, впуская их в дом, шопотом произнесла:

— Тише, тише!.. Тсс!.. Это запрещено... Тсс!..

Усевшись за стол, они принялись за еду. Всякий раз, когда нож задевал железную кружку, когда кружка сталкивалась с другой, когда подбитые железом сапоги стучали о каменные плиты, хозяйка набрасывалась на солдат:

— Тсс! Тсс!

Они переглядывались, положив локти на стол, боясь обменяться хотя бы словом, из опасения рассердить запуганную женщину. Пескье вытаскивал из кармана бутылку, портрет, смотрел на них и мысленно обращался к ним с речью. Пламя плясало в очаге, разматывая в воздухе кудель тепла, которое словно шерстью обволакивало их отяжелевшие головы. Они заснули у огня.

Марсо внезапно пробудился. Это было как раз в тот час, когда он обычно отправлялся в свои ночные странствия. Он не без грусти представил себе английский лагерь, канал, куда он ходил к морякам и докерам, хлебопекарни и дуплистую иву, в которую он прятал провизию для возлюбленной Кламара. Вспомнил Семгу и ребенка, ползающего по трюму.

Но перед ним была просторная кухня, погруженная в полумрак, в которой пламя очага полыхало крыльями, словно горлица, лишившаяся птенцов. Хозяйка присматривала за огнем. На ее высокую пышную грудь спускался жирный подбородок; маленькое розовое лицо, казалось, оттягивал шиньон льняного цвета. У нее был добродушный вид, и вся она, со своими округлыми формами, нагроможденными одна на другую, могла сойти за образец зажиточной крестьянки. Ее желтоватый рот, упругий, как персик, принял мягкое выражение, когда она сказала:

— Вы насквозь промокли... Сядьте ближе к огню!

Подтянув к себе свою флягу, Марсо угостил водкой хозяйку: они обменялись короткими отрывистыми фразами — главным образом о земле, которая здесь трудно поддавалась обработке и на которой только свекла давала хорошие урожаи.

За окном непрерывно моросил дождь, и шум падающих капель создавал однообразный ритмический узор. Женщина говорила о повседневных заботах, о долгом изнурительном труде, о том, как тяжело сейчас жить. Они понимали друг друга, как будто были знакомы уже давно. Потом где-то пробили часы, и женщина вышла.

«Она молодец,— думал Марсо,— и не боится работы. Такая жена — сущий клад для мельника...»

Она возвратилась только на рассвете, когда все трое уже мылись. Они попросили дать им на дорогу вина.

— Идемте,— сказала она Марсо и повела его в погреб.

Их охватил полумрак, насыщенный пряными запахами. Мельник смутно различал женскую фигуру, на-

клонившуюся к бочке. Вынув втулку, хозяйка, продолжая разговаривать, нацедила вина.

Глаза Марсо понемногу привыкли к темноте. Глядя на мельника сбоку, женщина уверяла:

— Отличное вино. Австралийцам его не видать, как своих ушей. Превосходное вино, вы ведь разбираетесь в этом!

— Он этого не отрицает.

Наблюдая за ее движениями, так хорошо ему знакомыми, вдыхая винные испарения, мельник чувствовал, как в его разбитом усталостью теле пробуждается давно забытая сладкая истома. Он подошел и коснулся ее: выше локтя обнаженные руки, точно тесто, поддавались его заскорузлым пальцам. Невозможно было изъяснить словами, какая властная сила толкала его к ней. Ее кожа на ощупь была нежнее пшеничной муки. Не теряя времени на разговоры, он овладел ею, жадно вдыхая возбуждающий запах волос на ее затылке. Она и не подумала сопротивляться.

Когда солдаты уже собрались уходить, добрая женщина помогла Марсо нацепить на себя десяток ремней и, задержавшись мгновение на пороге, проводила взглядом горбуна Пескье, молчаливого верзилу, надрывавшегося от кашля, и мельника, направлявшихся на восток — туда, где все время гремит гром.

Переходя с этапа на этап, они добрались, наконец, до фермы, окруженной со всех сторон огромным пастбищем для овечьих гуртов.

— Это оно и есть, — объявил Пескье, — оно самое! Экая досада!

И, стоя посреди дороги, он осушил до дна свою бу-

тылку, кинув последний взор на снимок, с которого грустно улыбалась деревенская красотка.

Первое лицо, которое они здесь встретили, был пузатый Манжлен.

— Откуда ты взялся, Марсо? Старый скряга!

— Он еле держится на ногах!.. С вами этого никогда не приключится...

— Еще бы!.. Ну, мы дадим тебе сейчас твою охапку соломы и запишем на довольствие, — шумно смеясь, ответил сержант.

Им приказали войти в канцелярию. Помещение было пополам перегорожено столом, уставленным бутылками, которые вздрагивали при каждом орудийном выстреле. Кипа служебных бумаг лежала рядом с колодой карт.

— Новые подкрепления, господин поручик! — провозгласил Манжлен.

Старый толстяк, ветеринар, поднял свою лошадиную голову и буркнул:

— Отлично! Отлично!

Манжлен сел за стол и стал заполнять формуляры:

— А ваше имя как? — спросил он долговязого солдата, кашлявшего в руку.

Тот сглюнул, еще раз закашлялся и прохрипел:

— ...Мами... Альфред... Да, да. Мами... Фред... Пятого года.

Костлявой рукой он дотронулся до своей медали.

— Отлично! Отлично! — бормотал погруженный в дремоту ветеринар.

Взоры присутствующих обратились к Мами. Когда этот живой скелет с наголо обритой головой вбирал в свои легкие воздух, в горле у него подымался и опус-

кался какой-то мяч, а когда он кашлял, всем начинало казаться, будто под загорелой кожей его шеи прыгает небольшой зверок.

— Вы простужены?

— Нет, пустяки. Это у меня с Марны...

— Отлично!

Пескье отдал рапорт о происшествиях в пути. Горб у него на спине обозначился еще резче. Он старался быть изысканным в выражениях:

— Пескье, Жан, сотрудник фирмы Дюфайель. Капрал.

— Чорт возьми, Пескье!

Манжлен узнал одного из постоянных посетителей гауптвахты там, на берегу моря, неоднократно попадавшегося в кражах.

— Тебя, значит, выпустили на волю, мошенник?

— Да, им понадобился человек солидный. И вот, понимаешь... А ты здесь какими судьбами, Манжлен? Я был уверен, что ты на позициях...

Сержант предпочел ничего не ответить и только подмигнул одним глазом.

Ветеринар подошел к столу и стал тасовать карты с явным намерением разложить пасьянс. Он покачивал головой, повторяя свое любимое слово:

— Отлично! Отлично!

Вновь прибывших отвели в овин, служивший солдатам казармой. Это была типичная северная рига, сооруженная из дранки, соломы и глины. Одна стена у нее была пробита не то снарядом, не то неосторожно въехавшим дышлом. Брешь кое-как затянули парусиной, но холодный ветер и дождь то и дело врывались внутрь помещения.

Они поужинали вместе со всеми остальными, в полумраке на корточках примостившись к баку. Трубки вспыхивали в темноте, на мгновение освещая — здесь лицо, там кисть руки, и снова гасли.

— К нам прислали Марсо! — сообщил кто-то из солдат.

Сразу все засуетились, вскочили на ноги, поспешили к фонарю, висевшему на стене в углу.

— Марсо!.. Марсо-Лароз!

Словно огонь пробежал по рассучившимся волокнам протянутой веревки. Все наперебой осведомлялись о лагере, Шантриле, Барде, Ботю, о Семге...

Кричали:

— Ничего не попишешь!

— Наплевать: у меня красавица-женка!

— Эй, Марсо! Готово ли у тебя письмо Жоффру?

Но ночь, набухшая от воды, шумевшая, как кипящий котел, пропитанная едкими запахами, уже грузно нависла над этими людьми, покрытыми толстой корою грязи, и они мало-по-малу затихали, укладывались на койки, с трудом выдерживавшие тяжесть их тел.

Вскоре только клочок заревого неба сквозь отверстие в крыше одиноким глазом целился внутрь овина, да покашливал Мами, да бодрствовал, предаваясь воспоминаниям, Марсо-Лароз.

8

Марсо испытывал тайную радость от того, что снова прикоснулся к земле. Поля, луга, фермы были полны живительных звуков и запахов. Разве такой уж пустяк, например, встретить неподвижно застывший в

борозде брабантский плуг, которого ты не видел долгие месяцы?

Команда Манжлена численностью от тридцати до сорока человек незаметно поглотила в себя мельника, Мами, Пескье. На вновь прибывших также были возложены обязанности пастухов.

Под серо-стальным сотрясавшимся от ударов незримого молота небом, по которому сновали во всех направлениях вороны и самолеты, Марсо-Лароз, одетый в грубый шерстяной плащ, мирно пас овец. Он умел обращаться с ними; запах их пота не был ему противен. Когда они своими копытцами больно наступали ему на ноги, он разражался бранью, но никогда не замахивался на них палкой.

Все это были прекрасные французские овцы, кроткие животные с шерстью, тугою, как намотанная на веретено кудель, с тонкими черными, раздвоенными носами, с влажными мигающими глазами и крепкими ногами, выточенными из сухого дерева...

Местность представляла собою плоскую возвышенность с множеством долин, утопавших в жидкой грязи. Почва была до того напитана влагой, что вода выступала под подошвами, точно из губки. Дороги были покрыты толстым слоем тестообразной глины, в которой увязали колеса подвод и грузовиков.

И все же здесь умудрялись жить крестьяне, кряжистые, приспособившиеся ко всему. Теперь они смешались с солдатами и образовали довольно однородное население, не порывавшее связи с землей. Марсо вел с ними долгие разговоры об обработке земли, о ценах на продукты, о разведении скота и о несложных чувствах, общих всем им.

Самое дело, на которое его поставили, пришлось ему по вкусу, поскольку надо было присматривать за скотом. Но внезапно, неизвестно по чьему распоряжению, началось нечто такое, что привело его в ужас: овец спешно угоняли куда-то. Из густой грязи пастбищ извлекали копошащееся овечье месиво, сплошное руно, набухшее зараженной водой, и отправляли его на позиции или в глубокий тыл. Несколько времени спустя прибывали новые овцы. Их, тем не менее, помещали на тех же пастбищах. Они были всех мастей, от кремовой до золотой, от грубошерстных до бархатных на ощупь. Чистые, по-своему робкие, они входили, перебирая спичечными ножками, в клоаку, откуда им суждено было выйти чудовищными, скорбными, обреченными на смерть призраками.

«Вот что делают с нашими деньгами», — думал Марсо.

Он уже ничему не удивлялся и примирился с тем, что ни в чем не в состоянии разобраться. В самом деле, быть может, все это подсказано необходимостью, о которой он, простой мельник, не имеет никакого представления?

Но когда начинали грузить овец, он оказался не в силах сдержать свою ярость и орал во всю глотку:

— Дикари! Дикари!

— Это наш дурак,— замечал Пескье, и на Марсо не обращали внимания.

Погрузка! Гнусное зрелище. В эти дни Марсо был способен убить человека.

Картина приблизительно такова. Сначала на дороге раздается хлюпающий топот и плеск, постепенно разрастающийся. На некоторое время звуки замирают,

воцаряется затишье, затем плеск возобновляется: его можно принять за летний ливень в лесу. Когда овцы проходят, Манжлен и ветеринар показываются на пороге фермы, в которой помещается управление гуртами. Они усаживаются на скамью, и их животы еще больше выпячиваются, подпрыгивают всякий раз, когда они, глядя по сторонам полубессмысленным взором, покрикивают на солдат, на собак, на животных. Люди ускоряют шаг. Собаки взвизгивают и злобно набрасываются на овец. Овцы в испуге сбиваются в кучу и блеют, увязая в грязи. Быстрая ходьба отнимает у пастухов последние силы, доводит их до ожесточения. Им приказано закалывать животное, как только оно не хочет итти вперед: не будь за ними присмотра, они перерезали бы всех овец.

Все стадо, в сущности, — одно животное с тремя тысячами голов. Оно поэтому в три тысячи раз глупее отдельного животного. Безудержным потоком устремляется оно по тропе, которую следовало бы оставить в стороне. Опустошает свекловичное поле, которое надо было бы миновать, потому что оно принадлежит мэру. Прижимается спинами к осям проезжающих мимо артиллерийских орудий. Вертится под ногами у сипаев, эскортирующих какого-нибудь важного генерала. Если оно встретит на своем пути полотно железной дороги, оно обязательно разбредется по шпалам, да так, что его оттуда и не сгонишь. Недоразумения между животными и человеком усугубляются еще тем обстоятельством, что пастухи, набранные из людей, никогда не занимавшихся этим делом, не умеют угадывать инстинктивных движений скота.

Словно по команде подымаются тридцать, сорок по-

сохов и, точно цепы, опускаются на ничем не защищенные овечьи черепа, нащупывают под густой шерстью острый спинной хребет. Иногда они пополам перешибают им ноги и даже рога, представляющие самое чувствительное место бараньей головы.

Солдаты шагают вприпрыжку по обоинам дороги, стараясь направить в одно общее русло зловонное, обезумевшее стадо. Но ведь все это не пастухи, а каменщики, стекольщики, служащие Дюфайеля. Они совершенно беспомощны: суетятся, орут, пускают в ход свои посохи — единственный доступный им и во всех случаях жизни пригодный аргумент.

Мами сразу понял, что он окажется не в силах перенести этот острый запах, эту быструю ходьбу, эту пыль столбом, которую овцы подымают по дороге в бездождные дни, и грязь, густым слоем налипшую у них на шерсти. Он поэтому поместился во главе стада, став чем-то в роде вожака. Овцы упорно подталкивают его вперед, образуя за ним сплошной движущийся пласт, который почти выносит его на себе. Не переставая кашлять, Мами старается делать шаги как можно больше. Адамово яблоко лихорадочно пляшет у него под подбородком. Овечьи головы напирают на него, но он налегает что есть мочи, и стадо остается позади. Он умеет справляться с трудностями: вот уже два-три года, как он находит в себе достаточно сил, чтобы бороться со всякими препятствиями (например с начальством, у которого ему всякий раз приходится вырывать отсрочку); вот уже два-три года, как изобретательностью и терпением он умудряется, несмотря на свою слабость и недуги, оттягивать неизбежный конец.

А стадо подталкивает его, норовит обогнать.

Манжлен, запарившись и тяжело дыша, уже не в силах сдержать себя.

— Ну же!.. ну!

Кровь приливает к его сизобагровому лицу:

— Мами! что ты там делаешь? Пропусти их вперед!..

Волей-неволей Мами вынужден посторониться, уступив дорогу животным, и через минуту оказывается в хвосте колонны, бегущей уже как попало, без вожака.

Шествие замыкают хромые бараны, а еще дальше, отбившись от стада, бредут по одиночке больные овцы. За ними присматривает Марсо. Медлительный, терпеливый, он подталкивает отстающих коленом, подымает беременных овец, ложащихся посреди дороги.

Ветеринар, идя позади, тяжело передвигает ноги и обливается потом. Он откидывает голову, поправляет на носу пенснэ и кричит, закрыв рот шейным платком:

— Отлично! Не надо бить так сильно! Отлично!

— Среди них нет ни одного настоящего пастуха,— ворчит Марсо.— Дикари! Дикари!

Блеющая масса катится дальше, распространяя вокруг зловоние, бежит, мечется во все стороны, и Марсо подымает еще одну овцу, отводит замахнувшуюся руку, подталкивает отставшее животное, которое, увязнув в грязи, хочет, однако, ускользнуть от залитого кровью солдата. Этот человек с ожесточением набрасывается на свою жертву. Но у него нет никакой сноровки: повалив овцу и упершись коленом ей в бок, он с трудом нащупывает под шерстью шейную вену. Кровь хлещет ручьем. Люди ропщут, вконец изнуренные сумасшедшей спешкой, цели которой они не понимают. Собака лает, морда у нее перепачкана в крови.

Овцы кашляют и почти все уже хромают. Мами еле волочит ноги и тоже надрывается от кашля.

— Как вас зовут? — спрашивает его время от времени ветеринар, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Мами. Альфред, год призыва...

— Отлично! — обрывает его на полуслове ветеринар и отходит в сторону.

Но Мами, встревожившись, продолжает сиплым голосом:

— Да, господин поручик... Это у меня с Марны... Поймите, я вовсе не добиваюсь новой отсрочки... У меня дома трое детей. Если меня освободят окончательно, семья не будет получать пособия... И мне придется все равно работать. Я по специальности цементщик. Но этим делом я уже не могу заниматься. Поймите, мне лучше оставаться в армии...

Он продолжает лепетать, идя вслед за начальником, который машинально бормочет:

— Отлично!.. Не надо бить так сильно! Отлично!

Моросит, моросит почти беспрестанно. Люди примирились с этим медленно покрапывающим дождем, они сжились с ним и уже относятся к нему без прежней ненависти. Они знают, что тут ничего не поделаешь. Он разжижает снег, увеличивает грязь, которая все растет с каждым шагом, разрыхляет почву. Стадо уже как будто сознает, что со стихией невозможно бороться. Оно однообразно блеет и неудержимо катится вперед, хлюпая по лужам, усугубляя этими звуками томительную монотонность дождя и оставляя позади себя запах жирного пота, вызванного, быть может, страхом, или какими-нибудь иными, непонятными людям чувствами.

— Не надо бить так сильно! — блеет ветеринар.— Отлично!

— Болван! Болван! — ворчит позади этого маниака Марсо.

Мами сутулится, подставляя под дождь согнутую спину. Он все время кашляет, но продолжает итти, борясь с одолевающей его усталостью.

А мельник предаётся воспоминаниям.

В Ардре есть холмы и луга — зеленые, красные и трава на них такая мягкая, нежная. Сотнями там пасутся белые овцы и черные бараны. И со всем этим стадом легко справляются один, два, самое большее три человека, и одной, двух, трех собак достаточно, чтобы они не разбредались слишком далеко... За год там умирает меньше овец, чем здесь в один день.

Серый диск небосвода с шумом поворачивается над головами животных и людей. Тонкими длинными нитями с него струится вниз мутная влага. Тонкая жижа закипает под острыми овечьими копытцами, под тяжелыми подошвами потерявших человеческий облик солдат.

— Вот что они делают с нашими деньгами!

9

И вдруг дожди прекратились, уступив место внезапно подкравшемуся морозу. Поверхность почвы затвердела, сохранив на себе печать каждодневного труда. Стальной воздух стал звонок, словно стекло.

Однажды утром Манжлен на первых ступеньках лесенки, которая вела в занимаемый им чердак, заметил высыпавший за ночь хрустящий иней. Вместо моросящего дождя в воздухе теперь носилась тончайшая

пыль, ледяная мука. Она проникала всюду, ватой обволакивала землю, забивалась под дверные пороги.

Войдя в полуразрушенный овин, он увидал сплошной белый саван, которым были окутаны тридцать-сорок спавших на земле солдат. Сон придавал им еще больше сходства с мертвецами. Чувствуя, как от страха у него холодеет живот, Манжлен заорал:

— Эй, вы там!.. Встать!

Недвижно простертые тела закопошились. Из-под снежного покрова показались лица. Они были почти черные. Одновременно раздался глухой глубокий кашель, сотрясавший один из снежных бугров. Хриплые звуки сопровождались колыханием савана, под которым словно извивалась огромная ящерица. И вдруг тридцать-сорок черных ртов раскрылись точно по команде, чтобы откашляться, отхаркаться, отделаться от гнетущего ощущения, вызванного ночью, проведенной под снегом. Мами один надрывался за тридцать-сорок глоток.

— Эй, вы там!.. Встать! — рявкнул еще раз трясущийся живот унтера.

Солдаты, шумно горланя и сморкаясь, вскочили на ноги и через минуту уже мягко ступали по устланной снежным ковром земле. Манжлен распорядился немедленно сменить ночных часовых. Все кинулись к постам убедиться, не замерзли ли они в своих шерстяных плащах, стоя на карауле или лежа среди сбившихся в кучу овец.

Люди все оказались живы, но часть стада погибла под снегом.

В несколько дней температура упала до шестнадцати, потом до девятнадцати градусов.

Несчастные солдаты, брошенные на попечение ли-

шенного реальной власти Манжлена, отданные в жертву чиновничьей глупости ветеринара, продолжали ютиться в разваливающемся овине, превращенном порывами ветра в решето. Время от времени, несмотря на непогоду, в поле выходило несколько человек, разыскивая дрожащих от стужи, замерзающих животных.

В огромной отвратительной луже, образовавшейся на месте пастбища, копошилось черное от грязи стадо: в этой сплошной груде шерсти еще можно было различить признаки жизни — шло какое-то роенье, слышалось глухое блеянье. Солдаты входили в широкую, кругом раскинувшуюся выгребную яму и, извлекая из нее издохших животных, зарывали их тут же, в канаву.

Чудовищное зловоние разносилось далеко вокруг. Трупный запах стлался по земле, и даже ветру не удавалось разогнать его.

Мами, хрипя обугленными легкими, теперь не вставал со своей соломенной подстилки. Все эти сорок человек, уже немолодые ополченцы, признанные негодными для службы в строю, были либо раненые, либо больные, которым не дали времени оправиться. Эти жалкие люди привыкли всю жизнь трудиться, и то, что к ним предъявляли порою непосильные требования, не очень их удивляло. Но они возмущались, видя, как гибнет в грязи стадо в две-три тысячи голов, как ежедневно пропадает ни за что ни про что целое состояние.

В одно из морозных утр Марсо явился на ферму, где помещалось управление гуртами:

— Манжлен, — сказал он, — они мрут, как мухи.

Манжлену все это было известно. Интендант и Туарон ему заявили напрямик, чтобы он оставил их в покое. Есть при гуртах ветеринар? Есть. Так пусть уст-

раивается, как знает. У каждого своих хлопот полон рот. Все мы здесь стремимся к одной и той же цели. Надо работать, не покладая рук, бороться...

— Разбойники, — ворчал Манжлен, — разбойники! Наплевать им всем на главного интенданта... Если мне не дадут возможности поместить все стадо в хлевы или угнать его подальше отсюда, оно передохнет до последнего животного.

Охваченный внезапной яростью, он подымал кверху свои короткие ручки:

— Что ни день, закалываешь два десятка... Скоро от гурта ничего не останется...

— Хотите — верьте, хотите — нет,— с ужасом в глазах признался мельник, — у них уже загнивают ноги.

— Вы слышите, господин ветеринар? У них уже гниют ноги... Это ужасно! Гниют ноги!

Сержант не на шутку испугался: ведь и на нем лежала ответственность за целость скота.

Пристроившись у камина, ветеринар раскладывал у себя на коленях пасьянс. Колоду ему одолжила заведующая местным почтовым отделением.

— Не суйте нос не в свое дело, — рассеянно ответил он. — Не для того я учился в Альфоре, чтобы получать уроки от ваших солдат... Повторяю вам еще раз, я отлично знаю, что такое загнивание ног у овец... На скотном дворе в Ла-Вилет я насмотрелся достаточно... Картина болезни там была совсем иная... раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— Господин ветеринар, через неделю у нас не будет ни одной овцы...

Марсо произнес эти слова медленно, глухим голосом, звучавшим, однако, достаточно внушительно...

— Не орите так!.. Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— Он говорит так с двухлетнего возраста.

Марсо хотелось бы расхохотаться, но вместе с тем голос его дрожал от гнева.

— Молчать!

— Марсо, — упрашивал его Манжлен, — Марсо, замолчи!

— Во-первых, это меня не касается, — прибавил Марсо. — Мне приказано здесь оставаться, и я остаюсь. А вы, как вас там зовут, пойдете вне очереди в наряд на целую неделю... Подумаешь, объявилось надо мной начальство!.. Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— Пескье, — обратился к капралу Манжлен, махнув рукой на все, при виде этой неодолимой тупости, — вы слышали, Пескье? Уведите Марсо!

— Эй, Плантон, неси сюда аперитив! — крикнул он после некоторой паузы: он испытывал потребность подкрепиться. Затем, усевшись напротив ветеринара, он тоже принялся тасовать карты.

10

Весь день Марсо проводил на пастбище вместе с овцами. Тысячи острых копыт уже давно превратили луг в сплошной овраг. Животные не решались теперь прилечь на землю, так как это наверняка значило бы утонуть. Отвратительное зловоние, исходившее от разлагающихся трупов, ползло по снежному покрову, забиваясь во все ложбины. Положение становилось угрожающим.

Под темносвинцовым небом, в безоглядной белой пелене тонули все звуки, порывалась всякая связь с ос-

тальным миром, и люди, только о том и думая, как бы получше защититься от холода, перестали сознавать себя выбитыми из обычной колеи.

Так прошла не одна неделя, Марсо и его товарищи отощали, осунулись, благодаря караулам: из-за холода часовые не могли оставаться неподвижно на месте.

Однажды утром земля загудела от тяжкого грохота колес. Это приближались грузовики. Они возвращались с востока, оттуда, где вечно гремит гром и полыхает молния. Все были удивлены, увидав, что есть еще на свете нечто, способное стремиться к определенной цели. В санитарных фургонах оказались люди, с головы до ног покрытые затверделой корою грязи. Их переносили и складывали, как мешки, и отличить их друг от друга было невозможно. Они походили на связанных путами животных, которые, примирившись со своей участью, только в глазах сохраняют еще проблеск жизни.

Манжлен загнал своих пастухов в овин и запер двери на замок:

— Беда, если они вас увидят... Это — фронтовики!

Солдаты Манжлена безропотно попрятались по углам, так как им было стыдно, что они еще живы.

На равнине остался один лишь часовой — наказанный Марсо, охранявший копошащуюся кучу грязи. Куча эта двигалась, принимала разные очертания и издавала блеющие звуки. А он все сокрушался:

— Вот что делают с нашими деньгами!..

В полдень вереница грузовиков остановилась: впереди на дороге, что-то мешало их движению. По всей колонне, словно искра по шнуру, пронесся какой-то крик, пробежал из конца в конец по равнине, но взрыв последовал не сразу.

Марсо с дубиною в руке, — настоящий пастух, — невозмутимо смотрел на происходящее. Эти люди, облепленные грязью, сбившиеся в кучу, похожие точь-в-точь на его овец, дремали или, отупев от усталости, глядели вокруг, ничего не видя. Внезапная остановка колонны вывела их из оцепенения.

— Что там такое?

— Ни черта не видать!

— Что там такое?

— Это жандармы! Улюлю! Улюлю!

— Что там такое?

И вдруг невнятный гул этих голосов прояснился, перешел в прерывистый, затяжной и хриплый рев, от которого у Марсо свело все нутро:

— О-ко-пав-ший-ся!..

Перепуганная стая скворцов шарахнулась и, всплеснув крыльями, уселась на изгороди.

Из уст в уста пронеслось это слово, покатилось к голове колонны и назад в том направлении, откуда о н и появились.

— Окопавшийся!

Теперь мельник увидел, что именно в него, как камнем в собаку, метили этим словом.

Пожав плечами, он пошел дальше. Стадо, устрашенное криками, шумом и пыхтеньем моторов, вертелось на месте, металось из стороны в сторону, увязая в жидкой грязи, давило ногами и затаптывало в зловонную гущу свалившихся животных.

— Тише! Тише! — приговаривал Марсо. — Ну-ну!

Но крик преследовал его, гнался за ним по пятам. Вся колонна ритмично ревела теперь, все громче и громче.

Марсо вдруг почувствовал, как что-то ударило его в спину: круглый хлеб, упав к его ногам, зарылся в снег.

Он сделал еще несколько шагов. Град тяжелых предметов посыпался на него со всех сторон, разбрасывая вокруг черные комья мерзлой земли. Шум усилился, разбился на отдельные голоса, подступил к нему почти вплотную, совсем оглушив его.

К Марсо направлялись солдаты, покрытые густым слоем засохшей грязи, ничем не отличавшиеся от его сослуживцев. Но эти люди злобно хохотали, бесновались, швыряли в него чем попало. Скворцов это как будто забавляло: они перелетели немного дальше и снова расселись на дощатом заборе. Солдаты подошли еще ближе.

— Эй, приятели, — успел только выговорить Марсо.

В ответ раздался взрыв смеха, похожий на собачий лай, и несколько кулаков одновременно обрушились на лицо старика.

Его сбили с ног и затоптали ногами.

— Окопавшийся!

Без сознания, он упал на топкое дно вонючей лужи.

В эту минуту колонна тронулась. Солдаты кинулись к своим грузовикам, на которых уже протрубили сбор. Моторы пыхтели, явно довольные тем, что они опять работают не впустую. Однообразное гуденье покрыло все остальные звуки на безлюдной равнине. До самого вечера по ней потоком неслись автомобили, направляясь на запад.

Перескакивая с жерди на жердь, любопытные скворцы снова возвратились на прежнее место, на забор, тянувшийся вдоль самой дороги.

Часть третья

Марсо как на ладони

I

Возвратившись в лагерь на берегу моря, Манжлен застал Шантриля и его писаря в совершенном унынии: они уже не могли больше переносить однообразие своего существования.

Гурты были упразднены. Толстяк сержант привел с собою десятка три изнуренных солдат. Он принес также несколько занятных историек, в которых непредвиденный случай играл главную роль. Эти вояки поневоле, проторчав здесь два года невылазно, с удовольствием слушали повествование о событиях, разыгравшихся за пределами их маленького мирка. Странности ветеринара немало позабавили их в часы досуга, но трагическое происшествие с Марсо взволновало всех.

— Я нашел его, — рассказывал Манжлен, — зарытым в почерневшем снегу... Еще немного — и его уже нельзя было бы найти. Бараны изгрызли бы его совсем... Они уже разорвали в клочья его плащ... К счастью, недалеко от нас был походный госпиталь. Там Марсо подлечился «собственными средствами». Шкура у него дубленая, — что и говорить. Хорошо еще, что он не поднял шуму...

— Это будет ему уроком, — нравоучительно замечал Шантриль. — С фронтовиками ничего не поп и ш е ш ь!

Серое небо, грязного цвета море, да резкий ветер — вот из чего слагались здесь все дни без исключения. Уже три месяца, как солдаты не знали, что такое теп-

ло, что такое сухая обувь. Сверху, снизу, отовсюду в них проникала вода. Они, как губки, впитывали ее в себя и даже не роптали. Лица их все время были угрюмы, за исключением тех редких моментов, когда водка, вино или какая-нибудь необычайная страсть вырывали их из состояния мрачного оцепенения.

Люди Манжлена влились в команду, покорно выполнявшую изо дня в день свою нелегкую работу. Вначале их еще можно было отличить по выражению некоторой гордости на лице: ведь они натерпелись больше, чем их товарищи. Но вскоре они смешались с остальными. Следы суровой зимовки в гуртах у них постепенно исчезли, потрескавшаяся кожа на руках мало-помалу зажила, отмороженные пальцы на ногах отошли.

Безликий труд, растворяя в себе всех этих людей, превращал их в аморфную массу, подчинявшуюся беспрекословно воле начальства.

Восемь часов кряду таскали они на себе мешки, взбегали и спускались по сходням, карабкались по лесенкам, катали бочки, — и все это в любую погоду, — месили тесто, пекли хлеб...

Марсо, угрюмо молчаливый, работал в одной из таких бригад. Изумительным приемом он завязывал мешки, свои и чужие: он любил, чтобы всякое дело было сделано добросовестно. Стоймя удерживал он на плечах два мешка с маисом. Однако к вечеру он немного сутулился.

Марсо-Лароз опять входил в «крестьянскую» колею, живя своею, укрытой от нескромных взоров, свободной от внешних влияний, жизнью. Каждую ночь он опять отлучался из лагеря.

Мало-по-малу к нему вернулось его всегдашнее

остроумие; снова стали слетать с его синеватых губ меткие словечки, снова в его изобретательном уме зароились всякие проекты. Генералы, министры, короли снова были осчастливлены откровениями мельника на разграфленной в клетку бумаге.

Все солдаты знали об его ночных отлучках, но никогда не решились бы выдать Марсо. Его ночи были вполне надежны. Мы называем надежным дело верное, предприятие, лишенное всякого риска. Но он не без некоторой тревоги уходил блуждать по ночам. Не раз он чутьем угадывал, что за ним следят, и менял направление. Он забредал в английский лагерь, чтобы сварганить там какое-нибудь дельце, в хлебопекарни — чтобы разжиться хлебом, но шел всегда своим широким неспешным шагом, часто оборачиваясь назад.

Он навещал также Марго. Молодая девушка, явившаяся сюда вместе с Кламаром, жила теперь в деревушке на берегу. Рыбаки уступили ей в пользование пещеру, вырытую в известковой скале. Все дома там выстроены под такими пещерами, и в этих подвальных помещениях люди укрываются от северного ветра гораздо лучше, чем в верхних этажах.

Марсо всегда приносил ей какую-нибудь провизию: целый хлеб, флягу вина, горсть кофе или сахару — понемногу всего, что у солдат интендантских частей водилось в изобилии. Она порывалась заплатить ему, но старик улыбался и хлопал себя по поясу.

— У него денег больше, чем у тебя!

Сидя у очага, он оставался подолгу погруженным в задумчивость, а она рассказывала ему обо всяких мелочах, из которых слагалась ее жизнь.

Она работала теперь на стекольном заводе, как боль-

шинство местных жительниц, которые не рыбачили и не собирали галек. Платили ей жалкие гроши, и она, как и все одинокие женщины в то время, умудрялась не помирать с голоду, воруя по ночам уголь из вагонов, выкрадывая картофель из интендатских складов, подбирая брошенные солдатами хлебные корки. Половина населения жила таким воровством, ставшим узаконенным явлением. Часовые закрывали на это глаза. Жандармы боялись, что их повесят.

Тысяча двести солдат интендатских команд, докеры, железнодорожники занимались хищением казенного добра, прокармливая не только себя, но и своих родственников и знакомых. Каждую ночь таяло десять тонн угля, а зимою — до двух вагонов. Каждая бочка вина или спирта давала несколько литров утечки, иногда же она оказывалась совсем опорожненной. Мешки с сахаром, с кофе просыпались как раз в тот момент, когда это было кому-нибудь нужно...

Часовые упорно ничего не хотели видеть. Жандармы попрежнему разгуливали где-то далеко.

Она рассказывала также о своих товарках, об их нужде и о своей. Ее семья, там, во Фландрии, отказалась от нее. Кламар находился неизвестно где. Жить ей было невероятно трудно. Однажды у нее осталась только небольшая краюха хлеба. Когда она уже собиралась поднести ее ко рту, хлеб выскользнул у нее из рук и упал в грязь. Тогда-то она и решилась, несмотря на все свое отвращение, поступить на стекольный завод.

И все же — из окон ее домика видно море. Она не слишком одинока: рядом с ней живут люди — рыбаки,

дрягили. Ее, по совести, нельзя назвать несчастной. В полутемном подвале каким-то чудом всегда тепло.

Марсо слушал неумолчную болтовню северянки, так легко примирившейся со своей участью. Он просиживал у нее подолгу, затем, хлебнув на дорогу вина, неторопливо отправлялся в туманную, пасмурную ночь, по своим таинственным делам.

Как-то, когда он выходил от Марго, к нему подошла пожилая женщина:

— Послушайте!

— Он занят...

— Я знаю, что вы знакомы с Пьером-Луи... Пти-Луи...

— Ему ничего не известно...

— Прошу вас, выслушайте меня!.. Вы его видели вчера, все эти дни...

Он ускорил шаги. Она уцепилась за него.

— Выслушайте... выслушайте меня!..

Она произнесла это таким печальным голосом, что он остановился.

2

Женщина потащила его к съестной лавке с наглухо закрытыми ставнями. Там, за деревянной перегородкой, посетители распивали вино, стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимания английских патрулей. Это были старые моряки, в шерстяных вязанных куртках, ожидавшие прилива, который позволит им отъехать мили на три от берега и наскоро закинуть сеть — до рассвета, когда оживляется деятельность подводных лодок. были тут и солдаты, что-то медленно писавшие сидя за столиками. В нише белело изваяние богородицы со свечою в руках. Рядом миниатюрный трехмачто-

вый баркас с распущенными парусами казался бабочкой, приколотой к стене.

Старуха почти насильно усадила Марсо и глухо заговорила:

— Мне передавали... Вы с ним знакомы... Пьер-Луи... Видели вы его?.. Что он теперь делает?..

— Он понятия ни о чем не имеет...

Она поведала ему свое горе, приплела историю с сыном, которого забрали на войну, рассказала о муже, пропавшем без вести...

Марсо только покачивал головой:

— Он понятия ни о чем не имеет.

Старуха прислонилась к краю стола, зарыдала. Солдаты посматривали на Марсо. Матросы продолжали жевать табак, роняли короткие замечания. Мельник все время делал рукой отрицательный жест:

— Он понятия ни о чем не имеет...

Когда они вышли, Марсо вспомнил, что Пти-Луи уже несколько дней как куда-то исчез. Но он и не заикнулся об этом старухе.

В другой раз ему показалось, что он узнал Манжлена, кравшегося за ним по пятам. Марсо теперь выбирал для своих прогулок самые дождливые, самые темные часы, когда все небо бывало затянутно тучами. Его отлучки стали осторожнее: он то и дело оглядывался, возвращался обратно, кружил по извилистым тропам.

Иногда он поднимался на старый парусник и там подолгу предавался смутным мечтам — об Ардре, о муле, о мельнице, о толстой розовощекой женщине, об упоительном жаре ее тела. Воспоминание медленно таяло в его сердце, как тает во рту нежная мякоть персика.

3

Манжлену в первый же день по возвращении стало известно, что Бард поселился в укромном уголке с продавщицей устриц.

— Посмотрел бы ты на них вечером, на пляже, — сыпал ему соль на раны Шантриль, — как они воркуют, точно голубки...

Сержант предпочел бы перевести разговор на другую тему. Он избегал офицеров, считая их виновниками всех своих несчастий. От одного вида беззубого Барда его начинало тошнить.

Он бродил без дела, не выходя из состояния опьянения. Так же, как и Марсо, он предпочитал темные ночи, когда нечего опасаться патрулей.

Лагерь теперь своими звуками напоминал большое селение, расположенное рядом с заводом, где шум котлов и ритмическое гудение динамомашин сливаются в гул, издали похожий на мурлыканье кота.

На узкой полосе воды, сжатой с обеих сторон берегами канала, еле заметно покачивались шаланды и парусные суда с неглубокой посадкой. В сумерки ныряли чайки. А наверху, в английском лагере, копошились индусы, кафры, канадцы и австралийцы. Они собрались сюда со всех концов империи, чтобы курить золотистый табак и таскать на ягодицах маленькую подушечку, позволяющую ее обладателю удобно усаживаться на любом откосе.

Добрая половина местности была теперь занята вокзалом, который дымил и грохотал круглые сутки. Блестящий рельсовый веер простерся на обширной, прочно утрамбованной насыпи, обильно нафарширо-ванной просмоленными шпалами, железом и шлаком.

Это была как бы рука, которая легла на плечо холма, выросшего в один прекрасный день посреди болота: у нее было пять, десять, пятнадцать пальцев, и в узком ее запястье красовался узорный стальной браслет с натянутыми цепями и подвижными рычагами стрелок.

На этой насыпи люди суетятся, торопятся, всякими правдами и неправдами стараясь одолеть косную материю вагонов.

Вагон не так неподатлив, как иной груз, и менее своенравен, чем любое животное: он беспрекословно движется по заранее намеченному пути. Если он оказывается не на надлежащей высоте, значит, человек допустил какую-нибудь оплошность, отступил от нормы, являющейся для него, для вагона, непререкаемым законом. Он всегда спускается по откосу, всегда идет по тем рельсам, на которые его направила стрелка. Он ползет слишком медленно? Значит, ему не дали полагающейся порции жара. Он катится слишком быстро? Значит, тормоза у него не в порядке. Он дает наклон и опрокидывается в песок? Значит, его плохо нагрузили, неравномерно распределили тяжесть... Он никогда ни в чем не бывает виноват. Он — логика, бесстрастная логика неодушевленных предметов.

Пройдет еще немного времени, и железнодорожная станция отодвинет канал на задний план. Это уже можно было предвидеть.

Манжлена загнали в противоположный угол, на максимальное расстояние от огромного вокзала. Сначала он был огорчен, но потом даже возгордился этим. Ему стало казаться, что он является здесь чем-то в роде уполномоченного армии, что он играет роль приводного ремня, сообщающего движение всей этой

махине, или, вернее, той рукоятки, которая, не подавая виду, разнуздывает тысячи, миллионы лошадиных сил. Его жизнь толстяка, немного разочарованного бездоходным трудом, слагалась теперь из забот, связанных с новым и увлекательным делом, и из пьянства, вошедшего уже в привычку.

Занятый по горло, унтер умудрялся в течение дня, а иногда и два дня кряду, не думать о своих тайных сердечных делах. От поры до времени он устраивал то, что он называл своим девятиденствием. В продолжение недели с лишком он находился в состоянии непрерывного запоя, походившем на абсолютное блаженство.

На чердаке брошенного хозяевами дома он нашел себе приют, правда, не слишком надежный, но зато избавлявший его и от колебаний настроения Туарона и от злопыхательства Барда.

Окруженный отважными людьми, обветренными непогодой, прокопченными густым дымом, он жил здесь изгнанником, и если иногда выходил вечером за пределы ограды шпал — в иной мир, спокойный, к людям, не знающим механизированного существования, то лишь для того, чтобы повидать Шантриля, неизменного организатора попоек.

— Плевать я хочу на них всех! — восклицал он. — Там я сам себе господин...

По ночам он с наслаждением прислушивался в темноте к однообразному шуму проходящих поездов. Эти звуки напоминали ему его обувную фабрику. Иногда ему казалось, будто это работают на него, пока он спит.

Вагоны, переводимые на запасные пути, наскакивали

друг на друга, сталкивались буферами. Издавая стоны, как животные, которым невмоготу тащить тяжелую поклажу, части будущих составов образовывали целые поезда. На скрещениях путей, на скрепах, рельсов, на стрелках, громыхание колес было мерилом времени, сообщавшим вагонам ритмическое движение. Глухие стуки сменились стуками звонкими. Раскаты колокола, удар гонга, пенье наковальни поочередно вырывались из моря отдельных звуков, сливавшихся в неясный гул.

Люди сновали взад и вперед, перебрасываясь на ходу короткими энергичными возгласами. Маневренные свистки перекликались друг с другом или на таинственном своем языке вели продолжительные монологи.

Маленький рожок взвизгивал детским голоском: ти-ти-ти! Паровоз строго расчисленными гудками вызывал стрелочника, сцепщика, дежурного по станции...

Странны казались эти ночи для человека нового. Глазастые, они мерцали зрачками — красными, зелеными, белыми. Павлиньим хвостом переливались они, ни мгновения не оставаясь неподвижными. Фонари мигали, меняли форму и цвет, внезапно перемещаясь. Это был условный язык, живой, точный и властный.

Манжлен издали прислушивался к маневрированию короткошеего компаунда, глухо звавшего кого-то. Его долгая тяжкая жалоба была еще печальнее пронзительно-унылого свистка французских локомотивов.

«...Паровоз теперь на десятом пути, — соображал он. — Его легкие как будто надрываются от кашля, и бронхи вот-вот лопнут. Удар за ударом — пуф! пуф! пуф! — наносит он в рыхлое тело ночи, выбрасывает пар и стонет, как раненый зверь. Вся его жизнь протекает в переходах с одного пути на другой. Он воет, не

раскрывая рта, на американский манер, но его понимают. Когда он устает, его заменяет французский паровоз на больших колесах, волнующийся от нетерпения, словно цирковая лошадь. Этот — легкомыслен, тщеславен и быстро утомляется».

Примирившись со своей участью, Манжлен очень скоро освоился с шумной атмосферой, где в распыленном состоянии носилось столько звуков. Он бродил между сверкающими полосами стального веера, простертого на земле, ловко переходя полотно на виду у вагонов, двигавшихся со скоростью тридцати восьми километров в час. Он жил как ссыльнопоселенец, наполняя свое однообразное существование пленительными мечтами о будущем, о том неопределенном времени, к которому относил все свои планы. Почти не сокрушаясь ни о чем, он засыпал спокойно среди окружающего гула и гама:

— Я сам себе господин... Да.

Но потом станционные ночи сделались похожи на все другие ночи, стали угнетать своей продолжительностью. На востоке раскаты нескончаемого грома снова каменной стеной заложили горизонт. С флягой на груди, Манжлен, лежа на свалявшейся соломе, переворачивался с боку на бок.

«Я сам себе господин», — эта мысль уже не приносила ему успокоения.

4

Манжлен хорошо знал Марго.

Маленькая рыбачка одним лишь вскользь брошенным взглядом будила в сердце толстого сержанта це-

лый мир забытых ощущений. Вспоминал ли он в такие минуты о продавщице устриц? О жене? О дочери?

Ему была известна вся история Марго. Он следовал за ней издали по дороге к заводу, рассчитывая рано или поздно захватить Марсо. Счастье этой старой лисы, которое он представлял себе в превратном свете, казалось ему глубоко безнравственным и в то же время возбуждало в нем бешеную зависть.

Молодые женщины, желающие устроить свою судьбу, поступают, как сестра Нини. Встретившись со старикашкой, в роде Барда, у которого в центре Франции есть славный домик, свечная торговля и другое предприятие, они выматывают у него деньги улыбочками и любезностями, заходящими иногда слишком далеко.

Другие снюхиваются с каким-нибудь унтером, который отдает им свой паек, свое жалование и все, что удается наворовать на службе. Третьи, наконец, как, напр., дочь трактирщика, угождают одновременно нескольким унтерам, нескольким солдатам, кому попало...

Это — единственный способ избегнуть голода и пользующегося дурной славой стекольного завода, где приходится работать в крайне изнурительной обстановке.

Марго любит Кламара. Она затыкает уши, когда на улице к ней пристают с предложениями мужчины, каждый вечер провожающие ее до дверей ее жилища. Манжлена, с его отвислым животом, торчащими щеткой волосами и красными руками, на которых вздуваются синие жилы, она боится больше, чем остальных. В своей инстинктивной ненависти к нему она отождествляет его с преследователями ее Кламара и, при виде его, всегда ускоряет шаг.

Манжлен, напротив, наглеет с каждым днем. Вскоре он уже подстерегает ее у ворот стекольного завода.

Завод этот помещается в здании фермы, принадлежавшей до отделения церкви от государства монахам. Посреди сада, половину которого занимал огород, высилась сооруженная Виоле-ле-Дюком готическая часовня с узорными стеклами, по большей части уже разбитыми. В трансепте и на хорах поставили плавильные печи. Молодые женщины и мальчики, не спуская с них глаз, словно с кровожадных зверей, суетились в атмосфере пятидесятиградусной жары.

Девушки, еще не утратившие своей красоты, стоя перед круглыми отверстиями, надсаживали грудь, выдувая весь день (за краюху хлеба, за несколько франков) аптекарские пузырьки, маленькие склянки. Другие, поминутно раскрывая огнедышащие пасти печей, подбрасывали в них топливо. Мальчики бегом уносили длинные трубки, на конце которых сверкали звездочки. В этой знойной атмосфере, в неясном полумраке бывшей часовни, женщины работали обнаженными до пояса. Громкий лязг железа, стук деревянных башмаков по каменным плитам пола, крики выдувальщиц или мальчиков, обожженных искрой, хохот, визг и песни оглушали всякого входящего.

Сержант умудрился проникнуть в этот своеобразный монастырь и утвердиться в нем. Он давал мальчишкам мелкие деньги, а работниц угощал вином. К его посещениям привыкли. Они перестали казаться чем-то странным. Мужчины довольно часто приходили сюда при свете ослепительных пастей стекольных печей поглазеть на полураздетых женщин. Все офицеры перебывали тут.

Манжлен появлялся здесь преимущественно по ночам. Он держался совсем непринужденно и не жалел денег. Он переходил от одной работницы к другой, и лицо его, лоснившееся от пота, которому жара сообщила цвет обожженной глины, расплывалось в улыбке. Женщины ласково трепали его по щекам, как треплют пуделя. Кровь закипала у него в жилах. Он чувствовал себя молодым и был вполне счастлив.

В розоватом сумраке полуголые, большей частью мускулистые женщины, позабыв о всякой стыдливости — ее уже не существовало! — надрывались в тяжелом труде, отнимавшем у них последние силы. Разгоряченные спиртными напитками и пламенным дыханием печей, они двигались иногда неловко, иногда грациозно, а порой даже красиво. Мальчики пробегали, смеясь, со звездочками, мерцавшими на конце длинных выдувальных трубок. Манжлену нравилась эта игра, его пошлая роль донжуана, и ему не приходило в голову, что он может быть смешон.

Марго была истопницей. Манжлена она боялась здесь еще больше, чем на улице, когда он следовал за ней по пятам. Свои посещения стекольного завода он неизменно заканчивал, останавливаясь у ее печи и стараясь завязать хотя бы минутный разговор. На виду у своих товарок она не могла избегать Манжлена, стеснялась выказывать отвращение, которое внушал ей этот человек. Всякий раз, когда унтер-офицер, насмотревшись досыта на разомлевшие тела работниц, переводил на нее свой плотоядный взгляд, она испытывала приступ тошноты.

В полночь дверцы печей тщательно закрывали. Это был перерыв, во время которого закусывали и отды-

хали. Все разбредались по углам — поспать хотя бы часок. Обстоятельство это не ускользнуло от толстяка, которому не давала покоя неутоленная страсть.

Марго обычно уединялась вздремнуть в боковой придел часовни и там ложилась прямо на треснувший мрамор ступеней. Молодой женщине, измученной тяжким трудом и постоянной тревогой, казалось, что холодный камень немного освежает ее тело.

Не будь в помещении такой адской жары, можно было бы подумать, что находишься в церкви. Глубокое молчание, полумрак, пронизанный кое-где отдельными робкими огоньками, витражи, вспыхивающие по временам разноцветными красками, железное распятие, еще висевшее на стене, — все напоминало о первоначальном назначении этого здания. Даже вздохи можно было принять за стоны кающихся грешников, укрывшихся в тени колонн. Резвый шопот мальчиков, заглушенный смех этих маленьких фавнов, уже посвященных вакханками в таинства любви, перепачканных сажей, нередко пьяных, почти ничем не отличались от шаловливых затей малолетних певчих.

Манжлену все это было известно, и он только выжидал удобного момента. Наконец ему удалось застигнуть ее врасплох.

Сначала она думала отделаться от него шуточками. Но он весь дрожал от страсти и продолжал настаивать на своем. Разъяренный ее сопротивлением, он пригрозил:

— Молчи, или я донесу, что Марсо ходит к тебе по ночам!

— Ха! Ха!

— Я расскажу, что он приносит тебе хлеб, всякие припасы.

Она продолжала хохотать.

— Жандармы знают тебя, Марго. Ты для них любовница солдата, сосланного в Африку.

Она раскрыла рот от изумления, потом в ужасе бросилась бежать. Он кинулся вслед за ней, не проронив ни звука, пробираясь между спящими. Никто не обратил внимания на эту сцену. Его толстые руки, казалось, всегда обагренные кровью животных, старались схватить ускользавшее от него юное тело. Он остервенел, потерял всякую осторожность, метался, преследуя ее, из угла в угол. Нежный бархат ее кожи обжигал его заскорузлые пальцы, и это еще больше распаляло его. Он загнал ее в самый конец часовни, но в последнюю минуту она вскочила на глиняную вышку центральной печи.

Несмотря на шестьдесят градусов жары, Манжлен продолжал наступать на нее. Охваченный яростью при виде упорного сопротивления существа, несравненно более слабого, чем он, озверевший мужчина набросился на нее и, подмяв под себя, задыхаясь, хрипел:

— Не уйдешь от меня, потаскуха!.. Не уйдешь!..

Навалившись на нее своей широкой грудью, которую тщетно старались оттолкнуть ее кулачки, он наконец достиг желанного и досыта насладился этим беспомощным телом.

На крик Марго сбежались женщины, мальчики, дети. Но никому из них и в голову не пришло возмутиться. Наоборот, они надрывались от хохота: им казалось невероятно смешным, что парочка избрала для своих любовных утех такое неподходящее место.

Марсо узнал о происшедшем через несколько дней после того, как Марго оставила завод. Сначала она не решалась признаться мельнику: она боялась, что и он поднимет ее на смех и будет издеваться над ней. В самом деле, какое значение имеет в глазах этих людей, которым не принадлежит ни их собственное тело, ни их жизнь, какое для них имеет значение то, что с ней случилось?

Однако, в конце концов, она рассказала ему обо всем.

Старик покачал головой:

— Он тебе это сказал?.. Жандармы?.. Доченька моя, тебе было бы лучше убраться куда-нибудь подальше... Если ты так ему полюбилась, он не отвяжется от тебя...

У Марго не было никого на свете. Семья отреклась от нее. Кламар! Где он теперь? Она обняла обеими руками шею Марсо, прижалась лицом к его колючей щетине и только и сумела сказать:

— Дядюшка Марсо!

Возвращаясь ночью в свою берлогу, Марсо-Лароз угощает табаком солдат, занятых выгрузкой угля. Он знает, как к ним подойти. Часов в одиннадцать, в двенадцать, когда они дают себе передышку, чтобы закусить сидя у костра, Марсо вырастает словно из-под земли.

На колья, вбитые полукругом, натянут брезент. Среди жидкой блестящей грязи, свистя, пылает огонь и лижет синими языками отсыревшие сапоги, босые мокрые ноги. От костра идут опьяняющие испарения; одних клонит ко сну, другие чувствуют себя возбужденными. Надо всеми низко нависло небо — смесь смазочного масла, жирного дыма и воды.

Здесь — оазис, созданный несколькими людьми среди непроглядной, мглистой, дождливой ночи. Где-то в отдалении однообразно ухают пушки.

Черные солдаты с лоснящимися от пота лицами, на которых резко выступают раскрасневшиеся от близости огня скулы, медленно жуют недоброкачественный хлеб, запивая его мутным вином.

Низкого роста тщедушная женщина с огромным выпяченным животом наливает им во фляги спирт из бутылок, которые она принесла с собой, и трещит визгливым голосом. У нее волосы уже с проседью, но она одета пестро, на ней навешены всякие звонкие побрякушки и ожерелье из монет. Она торгует забвеньем, весельем и силой. Ее толкают, щиплют, осыпают бранью, но без всякой злобы. Никому и в голову не пришло бы не заплатить ей за выпитое, хотя она сама обворовывает всех.

— Марсо-Лароз! Ну-ка, глотни!

— Мари Бистуй! Налей-ка и мне!

Мельник достает из своего мешка золотистую махорку и английский прессованный табак. Он продает его солдатам — это одна из статей его дохода. Его угощают хлебом и говядиной, взявшейся неизвестно откуда. Он запивает вином, присев на глыбу угля. Длинное пламя костра, как домашний пес, ласково мечется от одного к другому.

Иногда к ним подходит, вынырнув из мрака, часовой-бретонец. Он тоже включается в общий круг, и вот уже дымится его шинель и розовеют от огня носки сапог. Ему передают флягу. Никто не замечает, каким чудовищным анахронизмом является этот вызванный к жизни волшебником Мерлином крестьянин двенадца-

того века с ружьем «лебель» в сгибе локтя, упирающийся прикладом в носок, чтобы не перепачкать винтовки.

У этих бретонцев славные крестьянские лица. Марсо говорит им что-то, заставляющее их смеяться, хотя они плохо понимают по-французски, и совсем как немцы поддакивают: «Йа! йа!» Он дает им щепотку табаку, расспрашивает их о посевах, о скоте. Они робки, предпочитают отмалчиваться, но старательно исполняют все, что им внушили их сержанты и капралы.

Марсо ораторствует во-всю. Этот немой неожиданно обрел дар красноречия. Он мирит спорящих, подает советы слишком горячим головам. Надо соблюдать устав караульной службы, потому что существуют на свете гауптвахты, муштра, Шантриль и многое другое в этом же роде. Но все это кончится. Война — затея богачей. Когда у них не будет ни гроша...

— Мы вернемся домой! У нас еще останется достаточно сил, чтобы жить и трудиться на пользу самим себе.

Мрак, разрываемый налетающим с моря шквалом, шевелится, вспыхивает огнями. Солдаты греются, беседуют или спят вокруг костров, но работа идет своим чередом, не останавливается ни на минуту. Гудят пароходные трубы. Свистят локомотивы. Компаунд ревет, выпуская пар. Визжат лебедки, скрежещут цепи на блоках. Время от времени ветер доносит из пекарен запах горелых дубовых веток и листьев или аромат кофе, которое где-то жарят.

Марсо покидает общество этих людей, тесно сплоченных, охотников позубоскалить, когда они вместе, по нужде изворотливых, мошенничающих на каждом

шагу, чтобы прокормиться и как-нибудь пережить еще один день. Он идет, ни на что не натыкаясь в темноте, обходя причальные канаты, которые то натягивает, то отпускает волна прилива, перепрыгивает через сходни, задевает плечом подъемные краны, вращающиеся в маслянисто-серебряной жиже, повторяя вечно одну и ту же нудную жалобу, но каждый на свой собственный, отличный от других, лад.

Он подымается на борт грузовых и пассажирских пароходов, вступает в беседу с норвежцами, датчанами, с иностранцами всяких национальностей, плавающих под прикрытием английского флага, выманивающих у нас деньги всеми способами и снабжающих нас никуда негодным продовольствием. Они понимают с трудом лишь четверть того, что говорит им Марсо на своем жаргоне, пересыпаемом английскими словами.

Он разбирается в темноте, как в своих собственных карманах. Между ящиками и тюками, сваленными в порту, по набережной канала он идет ничуть не медленнее, чем по открытому полю, когда направляется к жилищу Марго.

Он узнает во мраке знакомые тени, попадающиеся ему навстречу. Неверной походкой плетется, беседуя с самим собою, полупьяный Шантриль. Манжлен катится, увлекаемый вперед своим животом, а Ботю — ха! ха! — выступает, как чистокровный жеребец. Вот Туарон в своей кавалерийской шинели, никогда не вдевавший ногу в стремя. Надо спрятаться поскорее за ящики, за угольную кучу, потому что он сейчас настроен воинственно и спуску никому не даст.

Марсо долго ломал себе голову, зачем он тут слоняется, в эту холодную ночь. Ведь офицер свободен и

днем. Пускай же он возвращается скорее в теплую постель и предоставит шататься в темноте бездомным бродягам.

Однажды он едва не столкнулся с ним лицом к лицу у сходней, ведущих к Семге. Невероятная вещь! Комендант у этой потаскухи! Впрочем он не поручился бы за то, что не ошибся. Это было довольно давно. Теперь ему кажется, что он кого-то другого принял за Туарона. Быть может, Виро! Виро! Нет, это на него не похоже!..

В одну из таких ночей с ним произошел случай, которому было суждено оказать немалое влияние на его дальнейшую судьбу.

Сначала послышались крики, доносившиеся с какого-то парохода. К ссорам и побоищам между матросами все уже привыкли. Возвращаясь вечером из кабачков к себе на борт, они оглашали воздух пьяными воплями, на которые никто не обращал внимания. Мысль о мельнике никому не пришла в голову. Он был своим человеком среди солдат и докеров. Хотя им порою и казалось, что он издевается над ними, к нему, однако, относились, как к своему. И лишь когда часовой, стоявший на ближайшем к набережной посту, поднял тревогу: «Сюда, бьют француза!» несколько человек бросились к каналу.

Еще издали слышен был отчаянный голос Марсо. Старика нашли барахтающимся в вязком иле. Его вытащили, осыпая бранью, но вместе с тем дали себе слово при первом удобном случае утопить в отместку какого-нибудь норвежца. Мельника, с ног до головы покрытого зловонной грязью и уже наполовину за-

дохнувшегося, перенесли в лагерь. Он не вымолвил ни слова.

Это было неприятное дело. Шантриль и делопроизводитель коменданта решили замять его.

5

Несколько времени спустя Манжлен, Шантриль и писарь, сидя за кружками, в которых сверкало подогретое вино, мирно беседовали, напевая вполголоса знакомые мотивы.

В этот вечер, рассуждая о том, какая тонкая вещь военная организация, они, в сущности, не были далеки от истины. В самом деле, малейший пустяк может нарушить правильное функционирование этой махины! Правда, начальство иногда позволяет себе некоторые вольности... Но подчиненные ни в коем случае не должны доискиваться, что побуждает офицеров уклоняться от служебного долга.

Однако толстяк Манжлен говорил писарю:

— Удивляюсь, как это ты попал в рядовые... Будь у меня твои связи!.. Ты мог бы заниматься совсем другим делом... Но ты робок — вот твоя беда. Ах, если бы я обладал твоими знаниями!

Он представлял себе военную иерархию чем-то в роде лестницы Иакова.

Писарь возражал:

— Разве это имеет какое-нибудь значение?.. Надо делать свое дело... Раз на меня возложили определенные обязанности...

— Тебе следовало бы заявить о том, что ты был раньше служащим ломбарда... Тебя могли бы произве-

сти тогда в подпрапорщики... Шутка ли сказать, подпрапорщик!

Глаза сержанта увлажнились слезами, когда он произносил эти слова.

— Почему?.. Другие ведь о с т а ю т с я солдатами,— с необычной для него резкостью ответил Очкастый. — Я тоже не хочу быть исключением. Незачем выскакивать вперед, д е л а т ь к а р ь е р у... Да у меня нет для этого никаких данных.

Его собеседники не понимали этих тонкостей, но им нравилось его безрассудство, которое они, впрочем, склонны были объяснять действием вина.

— Какая ерунда! Сразу видать, что ты не был на действительной службе... Это и есть настоящая школа... Там тебя научили бы всему!.. Только на ней человек получает необходимый закал.

— Ты не умеешь пить,— осторожно заметил Шантриль.

Это должно было, по его мнению, в известной мере служить оправданием писарю и в то же время относило его в низшую категорию людей.

— Я хочу работать на ряду со всеми... с моими товарищами... В Париже у меня есть знакомый адвокат: он моет посуду на ротной кухне... Вот так и надо! Это прекрасно!

— Дурень, да разве ты не понимаешь? Он ведь делает это, чтобы его не послали на фронт...

Они расхохотались над его наивностью. Они, опытные коммерсанты, знали, что человек из-за выгоды способен часто даже на геройство.

Шантриль растянулся на своей койке.

Вино, о котором на время как будто забыли, искри-

лось в кружках. Это было португальское вино (так гласила надпись на вагоне-цистерне), поднесенное южными виноделами в дар союзным войскам.

Манжлен и писарь выпили еще, и тепло, которое они ощутили в своих жилах, побудило обоих выйти на улицу. Они испытывали неодолимую потребность проявить как-нибудь вовне свое радостное настроение и готовы были ухватиться за любой повод, чтобы разрядить свою энергию. Но всякие разговоры казались им предательством по отношению к самим себе. Им хотелось избегнуть искусственно подогретой атмосферы, которая создается в результате сердечных излияний.

Они услышали доносившееся издали пение. Слов нельзя было разобрать, но ритм был какой-то унылый. Звуки исходили из длинной палатки, казалось, колыхавшейся, плававшей в полумраке. На одном конце ее, сквозь брезент, просачивался неяркий свет.

Помолчав, Манжлен не без волнения произнес:

— Вот так — ночь за ночью... Благодаря этому, даже те из моих солдат, которые не чувствуют под собою ног от усталости, не могут заснуть... Надо сказать Шантрилю — это по его части...

Шантриль, лежа на койке в лакированных крагах и в своем всегдашнем неподражаемом костюме, натянул на голову одеяло, переживая сладкое похмелье от выпитых им пяти-шести бутылок португальского вина. Он возмутился, узнав, что пьяницы не дают спать товарищам, наработавшимся за день.

— Возьми фонарь!.. — приказал он писарю.

Из палатки, откуда доносилось пенье, вырывался,

рассекая уже густые сумерки, сноп света, походивший на огонь бугшприта.

— Это, должно быть, Марсо пишет свое послание главнокомандующему,— высказал предположение Очкастый.

— Нет, это не его берлога,— тоном упрека возразил Шантриль.

Резким движением он отдернул полотнище, заменявшее дверь. В конце продолговатого помещения сидела на корточках вокруг свечи группа солдат. На освещенной стене вырисовывалась дюжина силуэтов. В воздухе, насыщенном едкими испарениями аммиака и запахом эфира, звучала однообразная мелодия.

— Водка! — одновременно сообразили оба вошедшие.

Вероятно, эти несчастные где-то украли спирт с примесью эфира, которым опаивали перед атакой людей, посылаемых на смерть.

Как ни привыкли Шантриль и писарь к зловонию солдатской казармы, они все же не решались проникнуть в эту омерзительно-затхлую атмосферу. В глубине еще раздавался неясный речитатив, но их уже окружали подозрительные возгласы.

Здесь было человек шестьдесят, насквозь пропитанных алкоголем, разбитых усталостью, храпевших, кашлявших, куривших и отхаркивавшихся. Тошнотворно душный воздух спирал дыхание. Странный жалобный напев продолжал звучать там, подле мерцающей свечи.

Они ступали по рыхлому песку, Шантриль — впереди. Подошли почти вплотную к поющим. На соломе, подложив под голову вещевой мешок, лежал Мами. На его осунувшемся лице жили одни лишь глаза, да

еще прыгал взад и вперед, как белка, под подбородком кадык.

На одеяле у него валялись захватанные, замызганные карты и стояли кружки, влажные, как глаза солдат. Сидя на корточках, несколько пьяных пробывали играть. Но алкоголь не давал им сосредоточиться, и они, раскачиваясь, тянули свою унылую и вместе с тем прерывистую мелодию. Кто-то вскрикивал в полумраке, кто-то разражался площадной бранью. И среди этого чудовищного сборища маячило смертельно бледное лицо лжепокойника Мами.

Шантриль вступил в освещенное мерцающим огарком пространство. За ним подошел с фонарем писарь.

— Тише! Тише! — захрипел Мами, приподымаясь на руках, еще служивших ему, так как он был менее пьян, чем другие.

Свеча внезапно погасла. Кружки полетели на землю, и в воздухе сразу распространился горький запах. В темноте началась суета, беготня.

— Поймал-таки одного! — воскликнул, торжествуя, капрал.

Свалка разрослась. Все шестьдесят человек вскочили как один. Писаря опрокинули, подмяли. Желтый свет его фонаря стлался по полу. Завязалось настоящее побоище. Шантриль, задыхаясь, рычал:

— Попомните вы у меня эту водку!

Нельзя было с уверенностью сказать, завидует ли он пьяным, или возмущен. Слышны были глухие удары. Бормоча что-то невнятное, люди бросались друг на друга с кулаками. Палатка заходила ходуном.

Шантрилю и писарю удалось, наконец, вырвавшись из цепких объятий, проложить себе путь сквозь груды

полуобнаженных, потных и грязных тел. Подняв фонарь, Очкастый увидал искаженные злобой лица, грозившие неизвестно кому. Шантриль держал теперь за ворот двух пьянчуг и, потрясая ими, как палицами, оттолкнул от себя горланящую толпу. Так они добрались до выхода и через минуту были уже во дворе. Остервенелая шайка, распространяя вокруг себя запах эфира, хотела выскочить вслед за ними.

Манжлен, благоразумно до сих пор не переступавший порога, решил вмешаться:

— Эй вы, там, сволочь пьяная, попробуйте только выйти! Я вам покажу!

Но из всех бараков и палаток уже выбежали люди и, крича, обступили их тесным кольцом.

В общем гаме выделялся визгливый голос колониального солдата:

— А! Очкастый!.. Ты добиваешься моей отправки!.. Я уже был в окопах! Господин сотрудник ломбарда!

Он продолжал шепелявить:

— Мосье не умеет пить... Шантриль славный малый... А ты?..

— Мосье не умеет пить!.. — гоготала вокруг толпа. — Мосье не умеет пить! Ха-ха-ха!..

Вдруг несколько человек накинулись на писаря, сбили его с ног. Колониальный солдат схватил его за горло, осыпая руганью. Его лоснящееся розовым атласом лицо приобрело зверское выражение: вот-вот вопьется зубами в свою жертву. Очкастый считал себя уже погибшим. Поправив одной рукой пенснэ, со всего размаха ударил по склоненному над ним лицу. Тиски разжались. Что-то теплое закапало на него.

Между тем, расталкивая солдат, к ним приближалась долговязая белая тень. Привидение невнятно бормотало, но лишь прислушавшись как следует к его хрипам, можно было разобрать:

— Это у меня с Марны! Ха! ха!. Это еще с Марны!.. Ну и засуха у меня в глотке! Ха! Ха! У меня тоже, Шантриль, красотка-жена!.. Это с Марны, поймите!

Все расступились перед этим живым скелетом.

— Это у меня с Марны!

Он со стоном выдавил из себя последние слова, казалось, кровью хлынувшие у него из горла, и, хрипя, грохнулся наземь, на рыхлую песчаную почву.

В одно мгновение все разбежались.

Воцарилась мертвая тишина, лишь изредка прерываемая негромким свистом, какой производит затягивающееся отверстие в тине.

Сержант и капрал перенесли в барак длинное костлявое тело Мами. Только теперь писарь заметил у себя на лице и на руках кровь. Он стал умываться.

Шантриль, выбившись из сил, прилег, натянул поверх головы одеяло, но все еще продолжал насмехаться:

— М о с ь е не умеет пить! Ха! ха! М о с ь е не умеет!..

Писарь, вытираясь полотенцем, вполголоса объяснял Манжлену:

— Мы, мелкие служащие, народ молчаливый... Понимаешь? Мы никогда не высказываем своих мыслей вслух. Нужда научила нас смирению. Нищенские оклады убили в нас человеческое достоинство.

Он хотел вернуться к тому, о чем они беседовали за столом. Он любил порядок и последовательность в мыслях:

— Мы не знаем сильных, уверенных движений, мы

безмолвствуем, безропотно покоряемся судьбе: наши кургузые пиджачки насквозь пропитались пылью и запахом плесени там, на набережных, в книжных лавчонках; рукава у него лоснятся: они обтерлись о прилавки грошовых баров и об столы вечерних читален...

Он старался найти в окружающей обстановке аргумент, который мог бы окончательно убедить сержанта:

— Мы внушаем им недоверие, а между тем мы плоть от их плоти, кость от их кости... Ты ведь сам только что видел?..

— Я хочу пить,— отвечал Манжлен, не любивший разговоров на отвлеченные темы.

Так просидели они до рассвета, неспешно осушая кружку за кружкой, рядом с окоченевшим Мами, прямым и негнущимся, как «лебель».

6

В дождливое утро, пришедшее на смену бурной ночи, Шантриль был не на шутку озабочен.

В самом деле, как поступить с покойником? Как объяснить высшему начальству, что солдат может умереть не только от пули, шрапнели или мины? В тылу не полагается умирать. Это влечет за собой слишком много хлопот. Какое ненормальное явление — смерть вне боя, без разрыва снаряда!

Кроме того, комендант ненавидит всякие происшествия. Придется доложить ему сразу и о неестественной кончине Мами и о случае с Марсо.

«Никаких историй! Никаких историй!» А тут на тебе — целых две!

Однако коменданта, соблюдая необходимую осторожность, поставили в известность обо всем. Сцена,

разыгравшаяся при этом, стоит быть описанной, хотя она мало что прибавляет к комическому облику тыловых героев.

Я, кажется, уже говорил, что Туарон мужчина высокого роста. Он к а д р о в ы й. Начав службу унтером, он, вызубрив на зубок все уставы и не раз подслужившись интендантам, добился производства в офицеры. Он терпеть не может запасных и солдат военного времени, которые часто оказываются культурнее его и лучше, чем он, управляются со сложными делами. Горделивое сознание, что всем он обязан лишь самому себе, позволяет ему задирать кверху нос на каждом шагу. Он высок и тощ, как жердь, и кичится этим неимоверно, считая свой рост отличительной чертою героев, вопреки Наполеону, вопреки Лозену и многим другим, но в согласии с «руководством для воспитанников Сен-Сирской военной школы», которое видит в таком росте одно из средств сделать карьеру при дворе.

Он блондин, но красит волосы. У него прямая козлиная бородка, как принято говорить, «в стиле Генриха IV», и он раскатисто смеется. Взгляд у него холодный и жесткий. Он мелко тщеславен, но достаточно умен, чтобы не закрывать глаза на комические стороны своего теперешнего положения.

Он, этот преуспевший унтер, имеет в своем распоряжении тысячу — тысячу двести человек, казенного имущества на три-четыре миллиона и облечен неограниченной властью над жизнью своих подчиненных. Но он республиканец и, по слухам, даже масон. Однако, он читает на людях только «Э к о д е П а р и» и по отношению к двум-трем своим приятелям проявляет ис-

ключительную преданность и снисходительность. Это, прежде всего, сержант Кулен, неизменно сопутствующий ему на охоте и на рыбной ловле, затем курчавый секретарь («Мой alter ego», — говорит он шутя, хотя это совсем не шутка) и еще несколько человек.

Его певичка доставляет ему немало волнений, но это уже особая статья.

Сколько усилий затрачено им с тех пор, как, прибыв сюда октябрьским утром, он решил устроить здесь лагерь! Болото, прегражденное плотиной, простиралось на девятьсот метров в длину. Оно сплошь заросло камышами, скрывавшими глубокий, густой, вековой ил.

Надо было преобразить все это, пустынную топь превратить в место организованного труда, создать самую почву, установить воинский порядок.

По его требованию сюда пригнали солдат, разношерстную команду, людей не обладавших ни знаниями, ни опытом. Проложили шоссе, железную дорогу, устроили склады для хранения всякого рода припасов. Задымили печи, — целый лес труб, — слоноподобные мельницы образовали аллеи, несметные полчища бочек выстроились правильными рядами.

Болото, в результате упорной работы, мало-по-малу осушалось, становилось настоящей, твердой землей.

У Туарона были все основания радоваться. Но во имя всего святого: «Никаких историй, никаких историй!»

Итак, ему осторожно намекнули, что рядовой Мами, раненный на фронте, неизвестно каким образом поскользнувшись этой ночью, умер, и что некий Марсо, упав в канал, остался, однако, жив.

У Туарона мурашки забегали по спине. Эти незначи-

тельные происшествия все же неизбежно повлекут за собой расследование. Ему придется торчать здесь вместо того, чтобы отправиться к своей певичке, и — в довершение всех бед — от этого может пострадать его дальнейшая карьера.

— Что? Что? — переспрашивал он, краснея, как рак. И оставшись с глазу на глаз со своим делопроизводителем:

— ... Опять этот Марсо! Если он выживет, запрячьте его в тюрьму, свяжите по рукам и по ногам!.. Утопите его! Сделайте с ним, что хотите, но чтобы я о нем больше не слышал! Поняли! С Мами проще: рапорт врача уладит все.

Он передохнул, вытер лоб. Он хотел быть спокойным:

— Вы говорите, солома не прибывает?.. А мука? Как идет выпечка хлеба? О, что за каторжная служба! Что за каторжная служба! Кстати, как обстоит дело с бензином?

Этот вопрос интересовал его больше всего, так как бензина уходило невероятное количество на поездки, которые он совершал тайком в глубокий тыл. Но он не мог отогнать от себя назойливой мысли о случае с Мами, усугубленном историей с Марсо. Вне всяких сомнений, это вызовет отклик там, на «верхах». Нет ничего глупее этих штабных!

Все как будто составили заговор против комендантов. Штаб армии, интенданты, солдаты и события! И те молодчики в военном министерстве... им еще не надоело издеваться над честными тружениками!

Он поднялся. Положил руку на плечо делопроизводителя.

— Что делать, что делать, мой милый?.. Ну и не-

приятность! О, эти солдаты! Если бы мы относились к ним так, как они к нам... Нужно найти какой-нибудь выход.

Теребя бородку, он зашагал из одного конца барака в другой.

— Ах, — продолжал он, — как бы устроиться, чтобы не было вечных историй с солдатами?..

Незаметно для себя он ежеминутно возвращался мыслью к этим несчастным людям, которых считал своими личными врагами.

— Надо покончить с этим в два счета, — прибавил он, забывая о том, что речь идет о покойнике, а может быть, и о двух. — Надо покончить с этим в два счета! Я препровожу их при рапорте к майору. Никаких подробностей. Всего одно словечко. А он уж знает, как поступать в подобных случаях. Если они не строевые, им всучат винтовки. Если они кавалеристы, их назначат в пехоту... Их могут вернуть обратно, говорите вы? Как бы не так.

Из-под кэпи с четырьмя шнурами выглянули уши унтера.

Этот короткий монолог, не встретивший никакого возражения, утомил его. Он взял свое кэпи и направился к выходу:

— Вот что, мой милый, предупреди Виро... Да, вот именно. (Его осенила счастливая мысль.) Где был он? В эту самую ночь? В ночь, когда случилась история с Мами? Ведь он один ответствен за все... Ты выяснишь это? Не правда ли? Я полагаюсь на тебя... Да, где он был? А, негодяй!..

Он уехал. Делопроизводитель понял, что участь Виро решена точно так же, как и вопрос о Мами. Он

распорядился отнести покойника на носилках в походный лазарет, где от мертвецов избавляются очень просто. О Марсо на некоторое время как будто забыли.

— Ну, ну, не возмущайтесь, — говорил вечером Очкастый Виро, — это существует испокон века: ничтожество начальников и произвол подчиненных.

— Унтер-офицерам, если они исполнительны, разрешается многое. Они и пользуются этим. А расплачиваться приходится солдатам. Одни ничего не замечают, другие молчат, боясь, что их отправят на фронт. В армии нет такого унтера, у которого не было бы своих денщиков, своих льстецов, своих клевретов. У капрала их не меньше, чем у генерала. Как видите, рифма вещь совсем не случайная. Сержант наделен нешуточной властью: по сравнению с простым унтером, он всемогущ. Прапорщик, в виде общего правила, сочетает в своем лице эту власть с вечным озлоблением неудавшегося офицера. Что же касается офицера, его права огромны: он обладает неограниченной возможностью быть беспощадно жестоким. Но сама среда такова и сами солдаты до того привыкли считать себя рабами, распластываться перед власть имущим, угождать ему и льстить, что они первые толкают своих непосредственных начальников на всякие бесчестные поступки и гнусные злоупотребления.

— Вы — анархист, — ответил Виро, с трудом преодолевая тайную симпатию, которую он чувствовал к писарю, нисколько не сгущавшему красок. — Анархист и поэт!.. Если вас кто-нибудь услышит, вы погибли...

— Но ведь я не злословлю. Я говорю лишь правду...

Виро, у которого на висках даже выступил пот, поспешно удалился.

7

Время от времени кто-нибудь приносил мельнику дымящийся котелок или половину каравая. Нередко о нем забывали. У Очкастого были другие заботы. Кроме того, Марсо казался ему теперь существом не столько таинственным, сколько опасным. Надо вести себя осторожнее, когда сила не на твоей стороне.

Старик совершенно похудел и осунулся в насыщенной аммиаком полутьме своего барака.

Барак находился в самом конце лагеря, немного в стороне от его шумной суеты. Помещение никогда не проветривалось, так как в нем всегда кто-нибудь спал. Хлебопеки, работавшие днем, явившись на смену ночной бригаде, сразу валились на помятую, кишащую насекомыми солому, накрывались теми же вонючими одеялами, дышали тем же спертым воздухом. В полураскрытую дверь проникал запах хлева, и в царившей здесь тишине слышно было неумолчное копошение крыс под пыльным слоем высохшего ила, заменявшим пол.

В этой трущобе, насквозь пропитанной винным перегаром, мочою, потом и табачным дымом, лежали два человека: Марсо, совсем ослабевший, с поврежденной левой ногой, и молодой солдат, страдавший суставным ревматизмом. За этим несчастным, корчившимся от безумных болей, лишь изредка присматривали соседи, да иногда к нему заглядывал кто-нибудь из земляков, хотя и те и другие были недалеки от мысли, что он притворяется и разыгрывает их.

— Несем же мы за него наряды, — говорили они между собой. — Чего же ему еще надо от нас?

Юноша стыдился своей слабости. Иногда он даже

пытался встать с койки, но всякий раз падал обратно. К зрелищу его страданий скоро привыкли, и на протяжении шести-семи недель никто не удивлялся, видя, как он на карачках ползет в темный угол барака, чтобы удовлетворить там свои естественные потребности. За стенами же барака о нем как будто забыли. Его скрывали от начальства, первой ступенью которого был уже Шантриль.

Марсо стал теперь его единственным товарищем. Круглые сутки они находились в обществе друг друга рядом с полусотней спящих солдат, раздражительных, ворчливых, просыпавшихся лишь для того, чтобы, выпив вина, кануть куда-то вовне, в мир, казавшийся необыкновенно чудесным обоим прикованным к ложу затворникам.

Они, быть может, так и умерли бы, угасли бы незаметно от «недостатка питания», как принято выражаться, и от отсутствия ухода, если бы в один прекрасный день врачу не пришла в голову мысль обследовать санитарное состояние лагеря на берегу моря.

Врач этот — добродушный толстяк, вернувшийся с фронта, где вместе с орденом почетного легиона он также приобрел солидное брюшко. Он убежден, что его сюда откомандировали исключительно с целью предоставить ему отдых. Поэтому он почти не покидает скалы, где чистый воздух полезен для его здоровья. Внизу, на болоте, он чувствует себя больным, и, кроме того, солдаты докучают ему своими вечными жалобами. Ни за что на свете никто из офицеров не отважится предложить ему осмотреть лагерь. Все ждут, чтобы ему самому захотелось спуститься вниз, а это случается не часто.

Но вот в одно прекрасное утро он спрыгнул с коня, остановившись у входа в караулку.

Шантриль, взяв у него из рук уздечку, сразу увидел, что этот приезд не сулит ему ничего приятного. Сердитый взор остановился на нем, не замечая его, и капрал по глазам начальства угадал, что оно полно самых благожелательных намерений по отношению к солдатам, но что ему, Шантрилю, придется круто.

Врач прошелся несколько раз по утоптанной дорожке, заглянул в одну из палаток, дал несколько указаний насчет гигиены в походных условиях:

— В шестнадцатом, под Верденом, — говорил он громким голосом, к которому с подобострастной улыбкой прислушивался Шантриль, ожидавший с минуты на минуту вспышки гнева, — под Верденом, мы, я... И так далее.

Они очутились перед бараком, где лежал Марсо.

— Помещение для пекарей! — провозгласил, подняв рыжие брови, Шантриль. — Они спят.

— Отоприте, — машинально произнес толстяк.

Душный воздух потемок с порога ударил им в лицо.

— Отоприте, чорт возьми! Отоприте!

В полумраке приоткрыли одну-две ставни. Начальство влетело вихрем. Освещенный тусклым лучом, просачивавшимся сквозь заложенное мешком отверстие в стене, лежал Марсо. Измученный голодом, терпя недостаток во всем, он, как подлинный фаталист, ждал того момента, когда его тело само приобретет утраченную способность двигаться. Он вспоминал о давно минувших событиях, обдумывал какие-то важные планы, составлял, быть может, фразу для ответственного письма.

— ...Не спит? Нет? Вот этот? — допытывался врач.

— Гм! Гм! — невнятно ответил Шантриль, норовя пройти дальше.

Врач, однако, потянул одеяло. На соломе лежал Марсо, почти совсем одетый.

— Надо отмыть его как следует!.. Скребницей... Нука, встань!..

— Он не может.

— Поднимите его!

Старик застонал. С того злополучного вечера, когда его бросили в канал, он был не в состоянии разогнуть спину. Его оставили в покое. Он был слишком тяжел.

— Он голоден, — еле выговорил мельник.

— Это не важно... Отмыть его!.. Да хорошенько, слышите!

Немного поодаль на рыхлом полу копошилось какое-то существо. В полумраке молоденький солдат, весь скрючившись, пытался уползти от праздных людей, которые не щадят даже покоя больного.

Врач в этот день был в отличном настроении. Что-то толкало его на альтруистические поступки, поскольку они возможны в пределах воинского устава. Он привел в движение свои толстые икры в желтых крагах, зазвенел серебряными шпорами, пронес через весь барак свой стянутый кожаным поясом живот и нагнал калеку:

— Ого! Это что такое? А? Как?..

Несчастный скрежетал зубами. Он дрожал от озноба и от страха.

— У тебя, как видно, жар? А? Погоди-ка минутку. Жар! У него жар, слышите?

Толстяк в кэпи с тремя шнурами устал от слишком

быстрых движений. Его беспокоила мысль о лошади, за которой, быть может, плохо присматривали пехотинцы. Ему было не по себе в спертой атмосфере барака. Наконец его немного пугала ответственность. Выпустив руку больного, он подозвал Шантриля:

— Сейчас же в лазарет! У него сорок! Ведь это же безумие!

Они удалились чуть не бегом.

— Жар! Ах, негодяи!

Юношу куда-то унесли. Марсо остался один. До сих пор облепленный тиной, так и засохшей на нем, он озирался вокруг тусклым взглядом, подавляя кашель, подступивший к горлу. Давалось это ему с трудом, но он удерживался изо всех сил, чтобы не разбудить спящих соседей, и без того недовольных посещением врача, ответственность за которое они возлагали целиком на Марсо. Нет, уж лучше голод и нужда, чем заступничество власть имущих!

— Накормите его как следует, — распорядился врач, занося ногу в стремя, — я завтра приеду опять.

Уже сидя в седле, он погрозил пальцем. Но на следующий день не возвратился. Его не видели после этого несколько месяцев. Он жил где-то далеко.

Марсо вымыли, растерли ушибленные места. Теперь ему стали носить пищу регулярно и в неограниченном количестве. Посещение врача производит целебное действие независимо от всяких лекарств.

Однако старика снедало беспокойство. Он не мог понять, чем вызвана внезапная заботливость начальства. Избыток внимания начинал утомлять его. Ему помогали садиться, подносили ко рту кружку. Парикмахер привел в порядок его серебристые «котлеты». Он не при-

вык видеть вокруг себя столько народу: Шантриля, санитара, писаря и еще много других.

— Хочешь пить, Марсо?.. Хочешь почитать газетку?.. Дайте ему рюмку водки!..

Он не отказывался ни от чего: все это было приятно, одно лучше другого.

— Что бы это значило? — задавал он себе вопрос. — К чему все это клонится?

Весь день он дремал и только ночью выходил погулять — самую малость...

Шантрилю хотелось бы заставить его очнуться от этого чудесного сна.

— Ну-ка, пошевеливайся!

Старик хватался обеими руками за соломенный матрац, прижимал его к себе и стонал:

— Нет, ему еще рано... Он не может...

Он наслаждался этими непривычными вещами: супом, кофе, вином, которые ему давали в горячем или в холодном виде, по первому требованию, как нечто должное. Он полюбил свою койку. Еще бы! Никогда еще о нем не пеклись так, как теперь!..

Вскоре он начал прогуливаться, опираясь на палку. Потом стал проводить целые ночи вне барака, но возвращаясь домой, вместо неприятностей, встречал лишь заботливость и внимание.

8

Поднявшись утром, Манжлен первым делом смотрит на небо. Ночи его совсем коротки: занятый своими любовными делами, он не замечает, как летит время; кроме того, он почти всегда возвращается навеселе. Проснувшись, он предпринимает свою прогулку по же-

лезнодорожной насыпи и, увязая ногами в песке, разгоняет застоявшуюся кровь.

Это час, когда дневная смена заступает место ночной. Компаунд глухо ревет, выпуская густые клубы черного дыма: только что взявшийся за работу, еще не перепачканный кочегар подбрасывает уголь в его алое чрево, где мечутся косматые языки пламени. Люди, машины расправляют онемевшие за ночь мускулы, прочищают глотку. День начинается.

В одно из таких утр, когда в сером небе розовыми стаями носились чайки, Манжлен с удивлением увидел, что к нему направляется офицер. Никогда еще сюда, в этот конец лагеря, можно сказать — на край света, не заглядывал ни один офицер. И однако, пробираясь между рельсов, в своих высоких сапогах приближался Бард.

Ну, будет уж какая-нибудь головомойка! — подумал сержант.

Но Бард все время в отличном настроении. Любовь наполняет его внутренним светом.

— Здравствуйте!

Утро дышало прохладой, трубка мирно курилась. Вагоны катились по насыпи, ускоряя ход, сталкиваясь буферами, соединяясь в составы. Самым неудачливым людям мир казался наредкость прекрасным.

— Вот что, вас как будто вызывают...

— Меня, капитан?.. Куда?.. И зачем?..

Когда приходилось иметь дело с начальством, сержант терял свою всегдашнюю самоуверенность. В таких случаях он начинал заикаться, чтобы выиграть время, необходимое для обороны:

— Н-не знаю... Н-не знаю... капитан.

— Да, сюда прибыл следователь...

— ...

— Я сказал Туарону: Манжлен — пьяница, но настоящий товарищ...

— О, капитан!

Он пыхтел, польщенный до глубины души таким отзывом начальника.

— Я сразу заявил ему: он не выдаст друзей... Со следователем ничего не попишешь! Но все же...

— Капитан, — лепетал Манжлен, — я не мальчишка, да, да, не мальчишка какой-нибудь...

К своей широкой груди, где что-то гудело, он прижимал руки, благодаря их толщине казавшиеся совсем короткими. Оба, начальник и подчиненный, уже не находили слов для выражения своих чувств. Они только слегка покачивались, улыбаясь влажными от умиления глазами.

Вагоны двигались со скоростью тридцати двух километров в час, взлетали на насыпь, весело соскальзывали вниз и завершали свой пробег резким толчком, от которого у зрителей захватывало дух.

Сержант и Бард обменялись длительным рукопожатием. О продавщице устриц — ни слова. Все само собой понятно.

В тот же день следователь прислал за Манжленом курьера с предложением немедленно явиться на допрос. Сержант отправился в таможню, где находилась камера.

Ему не пришлось дожидаться.

Через минуту он уже стоял перед столом, покрытым зеленым сукном. Ему улыбался маленький краснощекий человечек с приятными чертами лица, обрамленно-

го курчавыми седеющими волосами. Говорил он свободно, не подыскивая слов. Этому штатскому солдаты были обязаны отдавать честь.

— Ваша фамилия?.. — спросил он, когда они остались одни. — Садитесь... Вы знаете, почему мы вызвали вас?.. Мне поручено произвести следствие... Вам, повидимому, известно многое... Знакома вам эта тетрадка?.. Она принадлежит Ботю...

— ...

— Сержант Ботю у нас на самом лучшем счету. Правда, он был иногда слишком требователен, и это создало ему врагов. Пришлось заменить его другим. Впрочем, к тому времени как раз подошла его очередь отправиться на фронт. Ему, однако, казалось, что от него нарочно хотят избавиться. Он решил отомстить начальству, описав все, чему был свидетелем... Вот его дневник... Ваша фамилия встречается здесь довольно часто. Вы ведь были самым близким его приятелем, которому он поверял все...

Он сделал небольшую паузу, улыбнулся и продолжал:

— Ну, расскажите же мне все, что вам известно... Что в этих записках соответствует истине?

— Но, господин следователь, — невнятно забормотал толстяк, — я... я...

— Я приду вам на помощь. Судя по словам Ботю, все до единого здесь развратники и казнокрады. «Бард, добропорядочный человек, владелец свечной лавки, обольстил малолетнюю». Верно ли это?.. Допускаете ли вы возможность этого? Ведь брат у него депутат? «Бараль, верденский герой, пьянствует и за счет английского короля умудрился составить себе целый

погреб отборнейших вин». Возможно ли это? — спрашиваю я. «Что касается Туарона, этот кадровый офицер, у которого за спиною двадцать лет службы в войсках, проводит весь день на ловле форелей или пропадает неизвестно где»... Это же курам насмех! А Виро? Этот ничего не признает, кроме мессы да прогулок по пляжу... Нет, положительно, у Ботю воображения хоть отбавляй!.. Не правда ли?

Манжлен тяжело дышал, не решаясь раскрыть рот.

Сверлящие глазки следователя уставились на него. Красная физиономия сержанта приобрела багрово-сизый оттенок. Это было не лицо, а пара синих баклажан, подвешенных на двух осклизлых гвоздях по обеим сторонам задранного кверху носа.

— Признаюсь вам, сержант Манжлен, у меня такое впечатление, что все эти сведения не стоют выеденного яйца!..

Прикованный к стулу, Манжлен испытывал во всей верхней части тела и в голове ту неизъяснимую боль, которая является почти неизбежным результатом пьяных ночей.

Чего хочет от него этот человек?.. Какое могут иметь значение показания простого сержанта?

Но вот следователь продолжал уже более суровым тоном:

— В этой тетрадке есть заметки другого характера, и вам известно какие...

— Я... я... честный человек... Я... коммерсант из местности, оккупированной неприятелем.

Он вытащил из кармана окладный лист, помеченный июлем 1914 года, — с этой бумажкой он никогда не расставался.

— Погодите минутку... Выслушайте меня. Сержант Манжлен, я начинаю приходить к убеждению, что докопаться до всего происходящего в армии — вещь безнадежная... Что может поделать против вашей сплоченности и дисциплины штатский человек? Офицеры заткнули вам рот... Недавно сюда приезжал генерал... И что же?.. Все оказалось шито-крыто. Мы находимся с вами в состоянии непрерывной войны... Правды больше не существует. И все же я обращаюсь к вашей совести порядочного человека, к вашему чувству гражданского долга: Францию, милостивый государь, разоряют. Неужели вы не поможете мне вывести все на чистую воду?.. Правосудие...

Он поднялся. Пользуясь наступившей паузой Манжлен поспешил вставить:

— Я... ни в чем не повинен... мне не в чем...

— Вот и докажите, что мои усилия не пропали даром! Пускай хоть один человек нарушит заговор молчания. Я отдал Франции жизнь своего сына. Я готов ей принести в жертву самого себя. Но я не могу не возмущаться, когда люди упорно скрывают истину... Я уважаю иерархию нравственных ценностей, а не — мундира.

— Я... я... человек честный, — лепетал толстяк, вытирая пот, градом катившийся по его лицу.

— Услышу я от вас что-нибудь или нет? Нет? Ну, так извольте подписать эту бумажку: здесь подробно изложено все, что вы знаете о преступных действиях вашего начальства... Необходимо избавить Францию от подобных защитников... С одной стороны, есть люди, от которых требуют, чтобы они жертвовали всем, не исключая собственной жизни, а с другой — не толь-

ко не приносящие ничего на алтарь отечества, но даже грабящие родину... Подпишете вы эту бумажку?

— Выслушайте меня, прошу вас... Вы человек штатский. Я же солдат. Я даже из оккупированной местности... Это огромная разница. Если я подпишу, меня завтра же отправят туда, на передовые позиции... Я не отказываюсь итти в окопы, но только когда до меня дойдет очередь... Да, когда дойдет очередь... Это, по-моему, и есть справедливость...

Следователь заговорил строгим тоном:

— Сержант Манжлен, вам не в чем упрекнуть себя?..

Мурашки забегали по телу сержанта.

— Плевать я хочу на все эти росказни!.. Я из местности, занятой неприятелем!..

Упираясь обеими руками о край стола, следователь наклонился вперед и произнес вполголоса:

— Можете итти...

Манжлен вышел как лунатик. Ветер с моря леденил ему виски. Земля уходила у него из-под ног. Мысли смутным роем проносились у него в голове. Он не мог никак понять, почему старичок говорит с таким негодованием о совершенно естественных, всем известных вещах. Вспоминая слово за словом все, что ему сказал следователь, он вздрагивал, точно получив удар кулаком по носу, каждый раз когда доходил до зловещей фразы: «Сержант Манжлен, вам не в чем упрекнуть себя?..»

Усевшись на забытую шпалу, он сжал лицо ладонями и машинально посмотрел на станцию, где маневрировали поезда.

Нет, ему решительно не в чем было упрекнуть себя!

Он ничего не совершил такого, чего не делали бы все. Но там, где все виновны, в сущности, нет виновника.

Он уже хотел вернуться в камеру и сказать об этом старичку. Он бы еще прибавил:

— Вот у Барда совесть, пожалуй, нечиста. Но не у меня. Я человек честный... Суассонский коммерсант... Я женат, у меня взрослая дочь.

Но тут же он убеждал себя, что все это напрасно.

Станция раскрывала перед ним блестящий веер путей, и он до последней мелочи видел сложную картину ежедневного труда. Он мысленно перебирал значение всех этих сотен сигналов, свистков, завываний сирен. Но вдруг на него находило затмение: он ничего не различал, кроме голоса следователя, произносившего двусмысленные фразы. Он вспомнил о рабочем, которого вчера вагоном разрезало пополам. Ему ясно представился смазчик, рассеяно затирающий ногою пятна крови на песке. Тот, покойник, теперь уже счастлив.

Он поднялся. В самом деле, выхода не было. Старый болтун что-то знает. Но что? Он подумал о продавщице устриц, о гуртах, о смерти Мами, еще о всяких незначительных грешках в этом роде. Нет, решительно ничего серьезного на его совести не было.

У него подкашивались ноги, он невольно сворачивал не в ту сторону, куда хотел итти.

— Плевать мне на все. Я сам себе господин.

Мысли тяжело ворочались у него в мозгу. Чьи-то шаги на насыпи вывели его из оцепенения. Он узнал следовательского курьера, который, идя позади Марсо, вел его куда-то.

Не отдавая себе отчета, Манжлен поспешил удалить-

ся, пересек железнодорожное полотно. На путях вагоны проходили мимо него со скоростью двадцати, тридцати километров в час.

Марсо! Марго! В свете тех таинственных превращений, которые создает атмосфера военной службы, его поступок с Марго неожиданно принимал угрожающие размеры. Из рядового явления, из обыкновенного происшествия он становился уголовно наказуемым деянием, тяжким преступлением.

Молнией пронеслось в его сознании:

«Военно-полевой суд!»

Все разглагольствования старичка — да! да! — преследовали одну цель: посадить его на скамью подсудимых! О, он знал, что такое военно-уголовный кодекс с его вечным припевом: Смерть! Смерть! Смерть!

— Эй, берегись! — кричали ему железнодорожные рабочие. — Эй, берегись, сержант!

Они догоняли вагоны, оторвавшиеся от состава.

— Эй, берегись!

Но Манжлен ничего не слышал.

Там, вдали, на втором пути приближался желтоватый огонек компаунда. Манжлен зашагал ему навстречу. В ушах у него гудело:

«Сержант Манжлен, вам не в чем упрекнуть себя?»

В нем пробуждалось нечто в роде чувства чести. Этот средней руки подлец вдруг испугался скандала.

Машина находилась в десяти метрах от него на стрелке. Пар горячим облаком вырывался из поршня. Полотно трещало под тяжестью восьми колес. Шатун то протягивал, то отдергивал назад свою руку маниака.

Он лег, положил голову на рельсы и стал ждать.

9

Блестящий, цвета ярь-медянки канал мирно дремал закованными железом воротами шлюзов. Он был похож на змею, переваривающую пищу, и остовы расснащенных парусников казались двумя черными ранами на его теле. Чайки снова завладели прямоугольным бассейном в конце канала и с криками ныряли в воду, то располагаясь кругом, то выстраиваясь в ряд. Вдоль берега рыболовы погружали в зеркальную гладь свои мерцающие отражения. Сквозь шлак, а кое-где даже между шпалами пробивалась трава. Участки, уже давно расчищенные, сплошь заросли зелеными камышами.

По другую сторону темных ворот, покрытых струящимся серебром, простерся плоский водоем, незаметно вздрагивавший расплавленным оловом, живший в вечном дыму, среди грохота элеваторов и лебедок. Там подолгу уныло выли сирены, разражались яростными воплями, перекликались одна с другой. Люди пригляделись к этой обстановке, перестали замечать эти звуки. Склады и верфи приобрели свой обычный, повседневный вид. Работа ничем не отличалась от той, какая всегда кипела в портах. Даже у солдат исчезли последние намеки на военную выправку; их выцветшая, рваная и грязная одежда уже не походила на форменное платье. Война мало-по-малу приобретала гражданское обличье.

Лагерь на южном берегу теперь окончательно обосновался, стал нераздельной частью ландшафта. Над его крышами и мачтами простиралось небо, гармонировавшее с его общей окраской. Он жил полной жизнью на том самом месте, где еще недавно было болото. Несчетные шаги людей, целые горы отбросов

превратили грязную топь в твердую почву, на которой можно было строиться. Бараки и палатки постепенно приобрели неопределенно-серый цвет, свойственный старым домам. Шоссе и рельсовый путь пересекали теперь солдатский поселок, как они пересекают любой французский поселок, любой поселок вообще.

Марсо! Марсо-Лароз! Узнаю тебя среди тысячи, тысячи двухсот человек!

Он здесь — таскает тяжести, вместе с остальными, похожий на остальных. Он делит с ними труд и нужду, с этими рабочими и крестьянами, для которых все это не новость. Иные, менее выносливые, менее сильные, приспособились.

Но есть и такие, которые не желают «приспособляться»: они привыкли к тому, чтобы другие делали за них всю работу.

И Марсо возмущается. Я слышу, как он ораторствует. Его грубый голос гудит у меня в ушах:

— Они хотят воевать, они кричат: «На Берлин!» А сами ни за какие блага в мире не согласны вскинуть себе на плечи тюк в пятьдесят кило!

Марсо трудится. Его кажущаяся медлительность, по существу, — одно из преимуществ его работы. Он доводит ее всегда до самого конца. Он возносит ее на высшую степень совершенства. Он выполняет двойной урок. Посмотрели бы вы на него, когда он держит в руках пятизубые вилы! Наступив ногой на зубья, чтобы придать им еще большую кривизну, он об'яснил бы вам, что это за великолепное орудие. Он сказал бы вам... Но к чему слова? За Марсо говорит вся его жизнь и делает это красноречивее, чем его лиловатый язык и потрескавшиеся зубы.

Марсо вернулся к старым привычкам. Разве могло что-нибудь заставить его отказаться от них? Днем ли, ночью — он передвигался одним и тем же крупным шагом, всегда сильно сгорбившись. Он поднимался на парусник Семги, захаживал в английский лагерь. Приносил хлебопекам вино из трактира, завязывал мешки дрягилям, продавал докерам табак.

Он уходил в открытое поле тропами, которые высмотрел сверху, со скалы. После случившегося с нею несчастья, Марго поселилась среди крестьян. Она даже издали не хотела видеть дымы стекольного завода. Ни за что на свете мельник не бросил бы ее теперь на произвол судьбы. Он заглядывал к ней чаще всего ночью, принося провизию, все, что ему удавалось найти или украсть, ибо казенное имущество — также и достояние бедняков.

Сколько добра пропало бы даром, если бы не оказалось человека, который умел находить ему надлежащее применение!

Но раз Марсо нарочно кружил, сбивая со следу людей, которые пожелали бы высмотреть, куда он идет. Ему нравилось вести этот бродяжнический образ жизни и днем и, в особенности, ночью, не опасаясь патрулей и часовых, предаваясь всласть своим мечтам.

Крестьяне знали его хорошо. Они считали его своим, нередко вступали с ним в беседу, где-нибудь на меже, порой угощали кружкой сидра.

Чувство сладостного покоя охватывало его у Марго. Домик, в котором она жила, был невысок. Грубая мебель, натертая до блеска, казалось, встречала его улыбкой. Как сытную пищу, вбирал он в себя воздух, полный знакомых запахов. Сидя против возлюблен-

ной землекопа, он утрачивал представление о времени и о месте, в котором находился. Два белокурых женских лица с голубыми глазами сливались у него в один нераздельный образ, но он всегда находил в себе достаточно силы противостоять искушению.

На обратном пути он иногда захаживал в кабачок — посидеть немного за стаканом вина. Бродячие торговцы, работники из соседних ферм, охмелевшие вдовцы спорили о текущих событиях, ударяя по жирному столу заскорузлыми руками. Румяные женщины заливались смехом, потому что им говорили, не слишком церемонясь, о любви.

Порою Марсо заглядывал на парусник Семги. С тех пор, как умер ее малыш, Семга покинула свое жилище и поселилась в хижине недалеко от гавани.

Марсо любил парусник, как любят старое убежище. В его деревянном трюме он вспоминал о мельнице, где так же гулко звучат шаги, так же за стеною плещется вода, где те же запахи и та же сокровенными шумами исполненная тишина.

Он вспомнил о брошенном младенце, которого таскали на руках по палубе в то время, как мать пропадала неизвестно где. Ах, в тот вечер, когда ребенка — жалкий комочек в груде тряпья — нашли уже окоченевшим в углу трюма, старик не мог удержаться от слез...

Приближалась весна. Добела раскаленное солнце, — с таким ослепительным пятном в центре, что оно казалось черным, — от одиннадцати утра до двух часов пополудни изливало на землю потоки своих лучей. Канал вздрагивал от наслаждения. Олово бассейна кипело беспрерывно.

Однажды утром известие о победе пробудило миллион радостных звуков. «Ростбифы» объявили о взятии города, захваченного неприятелем. Весь день до глубокой ночи все, что могло звенеть, шуметь, гудеть, было пущено в ход людьми, почти примирившимися с мыслью, что жизнь вошла в обычную колею. Англичане со своими дудками прошлись по самым глухим тропинкам, спугивая диких птиц. Вороны снимались с места и улетали. Было похоже на то, что этими пронзительными звуками хотят снова навести блеск на потускневшую мысль о победе.

Французским солдатам сообщили о счастливом событии при раздаче писем. Приказ, возвещавший об этом, освобождал на пол-дня от работ все интендантские команды.

Мельник, накинув на плечи заплатанную шинель, ушел из лагеря. Он проработал до вечера у англичан, охотно нанимавших наших солдат для выполнения всяких хозяйственных нарядов. Когда стемнело, он отправился навестить Марго. Он получил письмо от Кламара и хотел прочитать его молодой женщине.

«Старина Марсо, — гласило послание землекопа,— пишу тебе из Заиды, куда меня сослали в связи с моим делом. Подумать только! Обращаюсь к тебе в надежде, что ты все еще встречаешься там с моей женкой. Сообщи мне, нашла ли она какую-нибудь работу в гавани или где-нибудь в другом месте на берегу, так как я слышал, будто рыбная ловля опять началась. Пишу тебе, потому что ты в свое время заступился за меня и вообще показал себя человеком не злым. Передай от моего имени Очкастому все, что

найдешь нужным. Как поживает Шантриль? Кланяйся всем товарищам.

Крепко жмет тебе руку колониальный солдат

Дезире Кламар.

2 рота, 3 пехотн. батальон. Заида».

Марго разразилась рыданиями. То, что Кламар называл себя колониальным солдатом, представлялось ей чем-то чудовищно постыдным, непреложно свидетельствовавшим об ужасной участи, уготованной ее возлюбленному.

Марсо не знал, как ее утешить. Не проронив ни слова, он долго просидел рядом с ней. Когда она успокоилась, итти обратно было уже поздно. Он переночевал на рыхлой, душной крестьянской постели и еще до зари ушел к себе в лагерь.

По дороге он вбирал всем своим существом утренний воздух, серо-шелковое небо, шум моря, становившийся все слышнее по мере того, как он приближался к берегу. Его одиночество доставляло ему теперь наслаждение. Мягкая истома сковывала его мысли и шаги.

Увидав со скалы простиравшееся внизу болото, бараки, выстроившиеся вокруг сверкающего бассейна, склады, палатки, дома он испытал прилив настоящего счастья. Право, ко всему на свете можно привыкнуть, со всем можно сжиться, как с родным.

— Здорово, Марсо! — окликнул его обозный солдат, гнавший мулов вверх по косогору.

Вскоре показались и военные заставы. Солнце, еще невысоко поднявшееся над горизонтом, покрывало налетом золотой пыли песок, крыши, все кругом.

Вот и казарма.

Писарь, улыбаясь во весь рот, но готовый в любой момент придать своему лицу прямо противоположное выражение, показывается на пороге. Он немного удивленно смотрит сквозь еще непротертые стекла очков. Не глядя в глаза Марсо, он идет ему навстречу, кладет руку на плечо.

— А, вот и ты! Наконец!

— Ну, в чем дело?

— Тебя всюду ищут. Где ты пропадал этой ночью?

10

Накануне вечером!..

Лагерь жил счастливой жизнью селения, празднующего победу. Каждый шатер, каждый барак можно было принять за кабачок. Солдаты, лица которых сияли, как бумажные фонари, гурьбою слонялись по аллеям лагеря, по болотным тропинкам от залитого огнями «Конца Наружу» — в эту ночь ни одно питейное заведение не боялось никаких дозоров! — до своих палаток, сотрясавшихся от взрывов буйного веселья, качавшихся из стороны в сторону, как воздушные шары. В этот самый вечер в лагерь явился штатский.

Сначала Шантриль, собиравшийся предпринять этой ночью какую-нибудь веселую прогулку, встретил его не слишком приветливо. Но тот настаивал на своем: ему необходимо повидать коменданта по крайне срочному делу. Коротко остриженные седые волосы незнакомца торчали щеткой на массивном черепе с крутым затылком, уходившим отвесно в туго накрахмаленный воротник. Слой жира, равномерно облекавший его тело, придавал ему несколько неуклюжий вид, но это

не лишало его известной солидности и даже величавости.

Он объяснил, что в свое время служил префектом в соседнем городке, но теперь в отставке и живет уединенно в ближайшей деревне.

Как нарочно, в этот знаменательный вечер никого из офицеров не было в лагере. Шантриль один воплощал в своем лице всю военную иерархию. Он увлекся этой ролью, сразу переменил тон, стал любезен, предложил почтенному посетителю войти в дощатый барак, где помещалась его канцелярия. Сверкая голым черепом и двойными стеклами очков, писарь, склоненный над столом, составлял списки военнослужащих. Впрочем, и без того печатные циркуляры и статистические таблицы, развешенные по стене, свидетельствовали, что здесь присутственное место, хотя в воздухе чувствовался крепкий запах табаку и вина. Врожденное доверие к людям и воинский порядок, сквозивший здесь во всем, внесли некоторое успокоение в душу отставного чиновника. Он уселся на предложенный ему табурет и приступил к повествованию. Конечно, конечно...

Дело первостепенной важности привело его сюда.

Неспешно достав из кармана связку писем в конвертах, он рассказал, каким образом один негодяй ограбил его служанку, пожилую женщину, уже много лет находящуюся у него в доме.

Злоумышленник, солдат, повел дело очень искусно, начав издалека. Потерпевшая — вдова, получающая пенсию за мужа. И вот франк за франком, милостивый государь, у нее выманивает соблазнитель! Ее единственный сын на фронте. А ее разоряют, лишают последних денег. Скоро, благодаря долгам, у нее ничего

не останется от ее сбережений, нечего будет завещать сыну.

Несомненно, эти письма помогут обнаружить виновного. Бедная женщина все не хотела с ними расставаться и, отдавая их, обливалась слезами.

Старик говорил еще долго, степенно, поджимая бритую губу, пережевывая одно и то же, перечисляя свои связи, распространяясь о своей службе, о своих дальнейших планах, о своем положении... У его приятеля есть родственник — полковник: он примет меры к тому, чтобы похититель вернул награбленное.

Его широкая рука с короткими волосатыми пальцами размахивала связкой любовных писем в такт его монотонным периодам.

Шантриль знал, как отводят грозу, уже готовую разразиться. Осторожно, сочувственными фразами он понемногу пролил успокоительный бальзам в негодующее сердце старика. Офицеры и он, в меру принадлежащей ему скромной власти, приложат все старания, чтобы установить личность виновного и должным образом покарать его: он ручался своим честным словом. Обращаться к суду нет смысла...

Вдруг он запнулся, не закончив фразы: язык прилип у него к гортани. Черные глаза, перестав бегать по сторонам, устремились в одну точку. Он узнал этот крупный старательный почерк!

— Позвольте!.. Ну и ну!.. Да я голову дам наотрез, если это не почерк Марсо-Лароза! Ничего не попишешь! Придется теперь покончить с ним навсегда!

Нечего сказать: хороша история! А сколько неприятностей еще впереди! Туарон придет в ярость. Туарон

обрушит на них громы и молнии. Все заволновались: Туарон! Туарон! Туарон!

Конца не будет проделкам этого старика. Он неисправим: кожа у него толще, чем у любого боша. Перечли письмо:

«Получил, моя милая, твой пирог...»

Никаких сомнений не оставалось. Буржуа совсем успокоился при виде всеобщего возмущения. Обещав вернуться через несколько дней, он распрощался.

Сон Шантриля был тревожен. Он борматал всю ночь:

— Проклятый Марсо... Ах, негодяй... Ничего не попишешь!

Чуть свет унтеры устроили нечто в роде совещания. Туарона в лагере не было: он праздновал на стороне этот торжественный день. Его делопроизводитель тоже кутил где-то в порту. Бард, как старший по чину, исполнявший обязанности коменданта, умыл руки и не подумал заступиться за земляка. Бараль, мертвецки пьяный, еще не успев спустить ноги с постели, пришел в ужас при мысли, что это мог сделать один из его людей. Он разразился угрозами по адресу солдат, позволяющих себе так подводить офицеров. Виро поручили осведомить коменданта о случившемся, соблюдая все необходимые предосторожности.

Шантриль постарался закрепить в сознании каждого, что он, в сущности, ничтожная пешка, не имеющая никакой инициативы, и потому не может быть ответственным за происшедшее. Об истинном виновнике, о Пьере-Луи, никто почти и не вспоминал. Он уже давно находился где-то в Сирии, вдали от европейского континента, который теперь не представлял достаточно гарантий полной безопасности. Ловкий малый добился

того, что его отправили на второстепенный театр военных действий, где он рассчитывал найти более подходящее поприще для своей эпической лени.

Решили посадить Марсо-Лароза в кутузку. Будет он знать, как омрачать славный праздничный день!

Гауптвахта помещалась все в той же полуразрушенной лачуге близ берега, которую охранял часовой-бретонец с примкнутым к винтовке штыком, лопотавший: «Йа! йа!» Когда под арестом оказывалось три-четыре человека, там можно было задохнуться. Дверь хижины поэтому стояла всегда распахнутой настежь, и нередко можно было видеть, как одна половина заключенного, лежа на земле, находилась на свободе, а другая сражалась в карты внутри помещения.

Часто бывало так, что ночью часовой усаживался на пороге, становясь четвертым партнером в нескончаемой игре, продолжавшейся при свече до зари. Хотя бретонец не понимал по-французски, с ним всегда, однако, удавалось столковаться.

— Игра в карты, — говаривал Виро, — единственный международный язык с тех пор, как дипломаты перестали пользоваться языком Вольтера.

Днем заключенных выводили на строевые занятия или на работу, при чем, в виде общего правила, это были самые тяжелые и изнурительные наряды.

Караульные мало чем отличались от окарауливаемых. Одни из них избивали арестантов, другие занимались вымогательством. За приличную взятку можно было получить разрешение провести несколько часов в кабочке или у Семги, или, наконец, в ином месте, где почему-либо хотелось побывать.

Марсо-Лароз опять очутился в своей кутузке.

Товарищами по заключению у него на этот раз оказались молодые солдаты. Медлительный, неуклюжий старик, говорящий на провинциальном наречии и склонный к задумчивости, явился вполне подходящим объектом для издевательств и глумлений со стороны этих людей, не знавших, чем заполнить свой вынужденный досуг.

Если они не были сильнее его, они были наглее и из общего котла всегда забирали себе лучший кус. Марсо не обладал необходимой в такой обстановке изворотливостью и не мог постоять за себя. Покупать же за деньги благоволение караульных и своих товарищей по заключению он не хотел. Не удивительно, что при подобном режиме он спал с тела, осунулся, весь как-то потемнел. Исхудав, он стал казаться выше ростом. Однако, когда ему приходилось подымать какую-нибудь тяжесть, он сгибался в три погибели. Ему уже было не под силу таскать туго набитые мешки, как он это делал раньше, как это делали все мельники. Ленивым шагом вьючного животного шел он на работу, и нередко штыки бретонских солдат, подгоняя его, упирались ему в спину.

Иногда он останавливался посреди дороги, подносил руку к глазам и всматривался вдаль, выискивая кого-то.

Однажды утром, взяв краюху хлеба и вещевой мешок, он переступил порог тюрьмы. Часовой, кинувшись к нему, окликнул его на ломаном языке:

— Куда это ты идешь?

Локтем оттолкнув штык, направленный ему в грудь, он пошел дальше. Его схватили за плечи. Перепуганные арестанты, держа сторону караульного, уговаривали мельника:

— Марсо! Не валяй дурака!

— Марсо-Лароз, послушай, старик...

Он отшвырнул от себя всех и, уже никем не удерживаемый, направился своим широким шагом прямо в поле.

— Он вернется! — сказал часовой, которому здорово попало от Марсо.

— Конечно, — подтвердили заключенные, выстраиваясь в ряд, чтобы итти в лагерь на работу.

Страх наказания и твердое убеждение в том, что необходимо соблюдать требования устава, удерживали их в границах повиновения.

Марсо-Лароз пришел в деревушку. Крестьяне, слегка замявшись, сообщили ему, что Марго уехала к себе на родину. Вечером он возвратился на гауптвахту.

— Я же говорил вам, что он никуда не денется, — шепелявил часовой.

На следующее утро мельник отказался выйти на работу. Ни угрозы, ни троекратные напоминания об уставе, сделанные ему Шантрилем, не могли сломить его упорства. Днем он опять ушел с гауптвахты, но на этот раз направился в лагерь.

На нем были деревянные башмаки; помятое кэпи мешковато сидело на догола остриженной голове; слишком просторная шинель болталась на исхудавших плечах. Он шел с решительным видом, широко шагая и неустанно бормоча:

— Жулики! Жулики!

Его можно было принять за бесноватого, беседующего с призраками, за странствующего пророка. На поросшем седой щетиной лице ясно означались две

глубокие морщины. Они начинались у скул и доходили до шеи, сразу обвисшей, одряблевшей.

Войдя в первую встретившуюся ему дверь, он звонким голосом произнес:

— Здравствуйте!

— Уходите отсюда, — просто посоветовал ему Бард, случайно находившийся в помещении. — Чего хочет этот человек? — спросил он, выведенный из себя его упорством.

Марсо-Лароз, стоя на пороге, казался еще выше среди этих низких стен, среди столов, заваленных бумагами. Он ступил шага два вперед, и никто не посмел остановить его.

— Здорово, честная компания!

— В чем дело? В чем дело?

Разъяренный Туарон, этот самый худощавый верзила, которого Марсо однажды повстречал на дороге, поднял голову. Он задыхался от бешенства при виде старика, скалившего длинные зубы и смотревшего на него в упор.

— Они избили его! — произнес Марсо.

— Убирайтесь сию же минуту! — гнусавя, приказал ему какой-то унтер-офицер.

Мельник узнал Кулена, учителя из одного с ним округа, устройством всяких развлечений для коменданта старавшегося снискать его благосклонность и таким образом отсрочить свою отправку на позиции.

— Понимаешь, Кулен, — ответил Марсо, — они поколотили его и обобрали до нитки...

Он распахнул рубашку, обнажив широкую, заросшую серым войлоком, грудь.

— Они ограбили все дочиста, эти прохвосты, — объяснял он, показывая на пояс.

В этом растерзанном виде, грязный, оборванный, он сам себе казался смешным. Он был немного удивлен, что находится здесь, и старался даже быть любезным.

— Уйдите, — умоляющим голосом повторил сержант.

Мельник обвел взором присутствующих, ища в комнибудь из них поддержки. Бард поспешил скрыться, опасаясь, что Марсо напомнит ему, как он торговал свечами в Ардре. Кулен не желал узнавать земляка и отошел к своему столу. Комендант и делопроизводитель, с трудом удерживались от смеха, наклонялись над бумагами, притворяясь, что ничего не слышат.

— Жулики, — тоном мягкого упрека произнес Марсо, — жулики!

Он вышел, громко стуча по полу. Когда они наконец решились поднять голову, он был уже далеко.

Сутулый, он продолжал слоняться по лагерю, пока не наткнулся на другой деревянный дом. Этот был снаружи окрашен, и вдоль стен вились ползучие растения. У раскрытого настежь окна сидел, склонясь над работой, офицер с пятью галунами. Большие листы бумаги, исписанные колоннами цифр, белели перед ним, как в знойный полдень песчаная пустыня.

— Здорово, приятель! — только и успел выговорить Марсо.

Шофер интенданта, схватив мельника за локоть, выставил его вон. В первое мгновение Марсо, зашатавшись, безвольно отдался во власть этим перепачканным жирною грязью рукам, толкавшим его прочь от порога. Но уже в следующую минуту, вырвавшись из

цепких объятий, обернулся назад и с головы до ног осмотрел своего противника.

Это был местный землевладелец, толстый, хорошо одетый, гладко выбритый мужчина, похожий на городского лакея. За год до войны, когда его свекловичные плантации были реквизированы казною, он приобрел легковой автомобиль, который теперь тайно предоставил в пользование подполковника. Это давало ему возможность укрываться здесь от отправки на фронт.

Старик положил ему руку на плечо:

— Холопская морда! — сказал он, глядя на него в упор.

Шофер возмутился, пришел в ярость, но рука мельника все сильней и сильней сжимала ему плечо, пригнетая его всего к земле. Он наконец освободился от этой тяжести и, усевшись на садовой стол, притворился, будто его забавляет эта история.

Марсо поплелся дальше.

Он добрел до границы лагеря. Ветер, шумевший в камышах, со свистом налетал на него, развевая полы грязной, обтрепанной шинели. Он шел без всякой цели. Миновав канал, он очутился на тропинке, сплошь заросшей травой. Прослонявшись в этих местах до полудня, он случайно встретил этапного командира.

Это был сахарозаводчик, с которым никто в серьез не считался, хотя он уделял немало внимания нравственному состоянию воинских частей. Главной его заботой было поддержание дисциплины: он требовал отдания чести по всем правилам, не допускал никаких отступлений от установленной формы одежды, был непримиримым врагом всяких внебрачных союзов, при

чем простирал свою власть в этом отношении даже на прибрежные рыбацкие поселки.

В сущности ни чем не занятый, он имел много свободного времени и часы досуга посвящал рационализации труда на военных заводах. Борясь с угрожавшей ему тучностью, он обычно отправлялся пешком, стараясь на месте обследовать интересующие его вопросы.

— Здравия желаю! — обратился к нему Марсо, поднеся руку к козырьку. — Он стар, ему больше не в моготу... А его избили... И даже ограбили.

С начальственной проницательностью, свойственной ему, как он полагал, в высокой степени, комендант сразу увидел, что рядовой Марсо — жертва той самой анархии, на которую он постоянно указывал. В одно мгновение ему стало ясно, что̀ можно извлечь из дела Марсо. Он с радостью ухватился за него. К нему обращаются за правосудием? Браво! Для того-то он и существует, чтобы восстанавливать нарушенное равновесие или, что в данном случае одно и то же, нарушенную справедливость. То обстоятельство, что в его лице хотели видеть некое страшилище, чрезвычайно оскорбляло его. Ему поэтому улыбалась мысль, что он, фронтовик, подденет этих тыловых крыс не на нарушении устава гарнизонной службы, а на чем-то совсем другом.

Комендант Дюран (или Дюпон — никто в точности не помнит, как его звали) внимательно выслушал Марсо. Дальнейшее расследование установило, что в момент взятия мельника под стражу не были соблюдены надлежащие формальности. Кроме того, нашлись люди, позволившие себе избить и обокрасть пожилого сол-

дата. На всю армию ляжет неизгладимое пятно позора, если подобные действия, приличествующие лишь неприятелю, останутся безнаказанными. Необходим нелицеприятный подход ко всем без исключения военнослужащим.

Часового и арестантов, допустивших насилие по отношению к Марсо, подвергли предварительному заключению до рассмотрения дела военным судом.

Мельника временно приютили в канцелярии этапного коменданта, но раз двадцать в день подвергали допросу. Он относился, впрочем, совершенно безучастно ко всему происходящему. Полное отсутствие денег и лишение свободы подтачивали его здоровье, как два тайных недуга. Как только его оставляли одного, он тотчас же устремлялся к порогу. Этапное управление помещалось в здании таможни, и Марсо, стоя в дверях, смотрел на проходившие воинские поезда. В одних вагонах солдаты пели песни, громко горланили, в других — молчали: эти были покрыты грязью и перепачканы кровью. Серыми равнодушными глазами наблюдал он прилив на фронт и отлив к тылу несчетного множетсва людей, животных, неодушевленных предметов. Смертельная тоска сковывала все его существо: он весь как будто одеревянел. О нем позабыли.

Однажды утром этапный комендант вдруг вспомнил о нем. Кинулся искать его, но напрасно. Прошла неделя, а он не показывался. Никто за это время не встретил его ни разу. Его отметили здесь без вести пропавшим, а в части объявили дезертиром. Комендант, почему-то решив, что он бросился в море, так и донес рапортом по начальству.

II

Виро был из тех неудачников, которым всегда приходится расплачиваться за чужую вину. Прошло несколько дней после происшествия с Марсо, и все уже считали дело замятым, — подобно таким же историям, случавшимся ранее, — как вдруг он получил приказ об отправке на фронт. Никаких выговоров, никакого порицания. Без лишних слов ему давали понять: «идите, подставляйте лоб под пули, но чтобы духу вашего здесь не было!»

Случай с Марсо требовал компенсации, злоба Туарона — жертвы, военное ведомство там, в Париже, нуждалось в определенном лице, на которое можно было бы возложить ответственность за происшедшее.

Это серьезно огорчило его. Он уже приспособился к безмятежному существованию, при котором, механически выполняя то, что от него требовали, он имел достаточно свободного времени для религиозных экстазов и для мечтаний. Свою игрушечную дачу на берегу, барак из фанеры, где помещалась его канцелярия, скалы, море, свою более чем скромную власть — все это надо было здесь оставить.

Если ничто не возмущает нашего покоя, мы легко свыкаемся и с вечно дующим ветром и с монотонным шумом моря. Приятельские отношения с двумя-тремя людьми: с аббатом Ле-Кведеком, с писарем, с вестовым, — он до войны никогда так близко не сходился ни с кем! Жена? Он мало думал о ней. Вся поглощенная своими делами и заботами, она жила собственной жизнью, чуждой его интересам.

Впервые здесь судьба улыбнулась ему немного... Он

с грустью вспомнил изречение псалмопевца. В самом деле, все суета, кроме веры!

«Ах, этот негодяй Марсо! Как еще терпит земля таких людей?»

В обществе своих всегдашних спутников, аббата и писаря, он предпринял прогулку на мол, хотя в этот вечер ему хотелось побыть одному.

Он думал о словах писаря, которые тот сказал ему сегодня, желая его утешить:

— Эта махина так уж устроена, что после целого ряда происшествий всегда стараются возложить на кого-нибудь ответственность за них, хотя бы этот человек не имел ни малейшего отношения к случившемуся.

— Это общее правило: необходимо подыскать виновника... Его ищут до тех пор, пока находится кто-нибудь, соглашающийся по неведению ли, или по слабости взять на себя эту роль.

— Защищайтесь! Вы ведь здесь не при чем...

— Вы славный малый, но настоящий анархист!

Точно вытянутая рука, далеко в море простирался мол, зажимая в кулаке мигающий факел маяка. Отлив обнажал огромную полосу, усеянную белыми костями.

Белые глаза двух грузовых пароходов, по-бульдожьи присевших на задние лапы, смотрели пристально на вход в порт, как будто надеясь, что внезапным приливом их сразу донесет до конуры.

Виро не столько был опечален самым отъездом, сколько мыслью, что его уже не считают начальником. Впрочем, так ли это существенно? По мнению сослуживцев, он не был достаточно аккуратен, честен и справедлив, хотя он искренне считал себя и аккуратным, и честным, и справедливым. Эти офицеры, думающие

только о своем личном спокойствии или о своей карьере, не были частью того идеального целого, которому он служил, не были частью Франции, чья победа была ему дороже признательности...

Ветром доносило издали шум валов, бушующих на просторе. По временам из гавани или из заводов доходили знакомые запахи: сквозь зловоние болота, сквозь тяжелую атмосферу порта, прорывалось благоухание дерева, которым топили шестьдесят хлебных печей, или аромат поджариваемого кофе. Начиналась ночная работа. По обеим сторонам канала на определенном расстоянии друг от друга пылали зияющие топки. Пели лебедки, каждая своим особым голосом, на свой собственный лад, и в вечернем воздухе, омытом недавним дождем, возносился ввысь, вместе с клубами колеблемого ветром дыма, звонкий звук сталкивающихся на станции буферов.

Виро был полон сожалений. Все это ведь возникло у него на глазах! Какое сильное, опьяняющее наслаждение воздвигнуть на ровном месте завод, верфь, город, хотя бы это было недолговечным, рассчитанным лишь на время войны. Ему было грустно уезжать отсюда: его невольно потянуло взглянуть поближе на то, что он покидал. Завернувшись в плащ, он пошел той самой дорогой, по которой всегда ходил бессонными ночами.

На берегу речушки рыбаки говорили о своих повседневных делах, вспоминали мирное время. В хижине Семги приветливо — для кого только? — светилось окно. Обычный неявственный гул обволакивал землю. Люди уже почти утратили способность различать эти звуки: они не слышали ничего и жили, как рыбы в омуте.

По полусгнившим мосткам Виро перешел на другой берег. Поселок уже погружался в ночную дрему. Но из приоткрытых дверей и ставен вырывалось, ударяя в лицо офицеру, теплое, почти человеческое дыхание; сквозь щели и скважины пробивался мерцающий свет. Он увидел дом, подступавший ближе, чем другие, к реке. Перед входною дверью в темноте округлялись очертания беседки. Виро вспомнил о маленькой Нини. Он замечтался: что-то сладостное всплывало в его памяти над горечью настоящей минуты.

В доме кто-то шагал из угла в угол. Молодой голос пел крестьянскую песенку. Виро долго простоял у забора, стараясь представить себе жизнь этой семьи, вспоминая тот вечер — как это было давно! — когда он подслушал, пережил до конца отвратительную сцену, разыгравшуюся в этих стенах. Он и не надеялся, что случай опять улыбнется ему, как вдруг, вспыхнув во мраке розовым ртом, распахнулась дверь, выпустив на улицу Нини. Он пошел за нею, нарочно ступая громче, чтобы дать ей знать о своем присутствии. Он сильно удивился и тому, что она, как в первый раз, сказала ему: «Добрый вечер!» и тому, что она пошла с ним рядом.

— Я иду к сестре, — пояснила она. — Она живет близ рыбного рынка. Вечером я иногда захожу к ней...

Без тени смущения выслушала она обычные пошлости, которые мужчины говорят в таких случаях. Они прошли по Рыбацкой набережной, миновали рыбный рынок, последние дома на окраине и вскоре очутились на склоне скалы.

Спотыкаясь о камни, о корни терновника, они с тру-

дом передвигались в темноте, но известную роль играло тут и волнение, охватившее их обоих.

— Нини, крошка моя! Я уезжаю отсюда.

— Ах!.. Когда?

— Завтра.

В их голосах зазвучала скрытая нежность. Прижавшись друг к другу, они уселись на поваленный пень. Позабыв о том, что рядом с нею офицер, она рассказывала ему о мелочах своей повседневной жизни: об угле, который она воровала из вагонов, о работе на стекольном заводе, о своих «крестниках»:

— Я и счет им потеряла. Некоторых я совсем не знаю. Семь человек мне пишут довольно исправно. С одним я списалась, прочитав его адрес на вокзальной скамье.

Виро неодолимо потянуло к этому юному телу. Он не знал, как ему подступиться к молодой девушке. Дрожащими руками он обнял ее, мысленно отдавая свое скромное счастье под покровительство дружественных звезд, отражавшихся в море. Все его существо было охвачено тою сладостью, какую он испытывал в часы вечерней молитвы.

Прощаясь, Виро думал о Ромео и Джульете, Нини — вероятно, о каком-нибудь бульварном романе. Оба сочли нужным принять немного торжественный вид. Уже стоя, они еще раз расцеловались, не размыкая рук, затем стали спускаться каждый в противоположную сторону.

Вернувшись домой, Виро пожелал взглянуть, который час. Часов при нем уже не было.

— Что за чорт!

Он принялся искать их... Напрасно. В конце концов он решил, что потерял их и, чтобы не думать об этом,

начал укладываться. Сжег ненужные письма, лишние бумаги, скользнул любовным взором по книгам. Апологетика — сюда, романы — прочь! Газетные вырезки — туда же! Не мог же он забрать все это на фронт. Он жег, жег одно за другим, и ему казалось, что он уничтожает целую полосу своей счастливой жизни.

Машинально он еще раз начал искать часы. Теперь ему пришло в голову, что их у него украли. Он вспомнил об одном жесте молодой девушки:

— Крошка Нини, ты ведь не притворялась, когда была так нежна со мной, когда с такой страстностью отвечала на мои ласки!.. Но часы? Как это могло случиться? Право, до чего все на свете омерзительно!

Он распахнул дверь и обошел последний раз вокруг дачи. На вершинах скал уже занималось бледное утро. Море меловой полоской обозначалось на горизонте. Близился час отъезда. Торопливыми шагами он направился к хижине, где еще спал его письмоводитель, аббат Ле-Кведек. Он разбудил его и упал перед ним на колени:

— Отец, простите меня: я согрешил!

По лицу у него текли слезы сладостного раскаянья. Он захотел исповедаться.

13

Шантриль, Очкастый! Очкастый, Шантриль! Имена эти до того примелькались, что их уже не замечал никто. Они вошли в армейский инвентарь.

Шантриль, Очкастый! Лишившись своих прежних сослуживцев, они предавались меланхолии. Молодые солдаты, ежедневно прибывавшие в лагерь, приносили с собой новые веянья в этот маленький, давно устояв-

шийся, скучный мирок. Это были люди совсем иной породы. Война безраздельно завладела их существом, и они подчинились ее власти так же, как подчиняются власти воспоминания солдаты, сражавшиеся некогда в кэпи и в красных штанах. Это было не насильственным вторжением в их сознание: нет, война обволакивала их незаметно для них самих, ее флюиды как бы носились в воздухе. Тем не менее новобранцы говорили о ней чрезвычайно развязно и предсказывали заключение мира в следующем 1918 году.

Старые унтер-офицеры, ограниченные люди, лишь игрою случая вознесенные над солдатской массой, теряли почву под ногами, утрачивали всякий авторитет Их странности, их слабости беспощадно высмеивались вновь прибывшей молодежью.

Шантриль, этот герой низости, уже не имел возможности проявлять, как бывало, ни свою власть, ни свое площадное остроумие. Ему недоставало для этого соответствующей обстановки, происшествий и людей, которым он, в сущности, был обязан всеми своими «перлами» и которые несколько месяцев назад назывались: Мами, колониальный солдат, Луи-Пьер, даже Виро и Марсо-Лароз.

В особенности ему нехватало Марсо! Старик был постоянной мишенью его издевательств, неизменной жертвой его самодурства.

Узнав о последнем приключении мельника, бывший кабатчик и Очкастый расхохотались. Смех этот был вызван не только воспоминаниями, связанными с фигурой Марсо, но и забавной мыслью о тех неприятностях, которые он причинил внезапным исчезновением своему покровителю, этапному командиру. Вскоре, од-

нако, образ старика мало-по-малу изгладился у них из памяти.

Писарь уже забыл о том, что некогда Марсо олицетворял в его глазах Францию, все человечество, которое, вопреки его воле, вели на заклание. Вынужденный подчиняться дурацким прихотям капрала и желая раствориться без остатка в огромной, безмолвной жертве, которую ежедневно приносила вся нация, он с ожесточением выполнял нелепое, никому не нужное дело.

Шантриль сознавал, что его престиж падает с каждым днем. Он, бывший официант, сумел в свое время подняться одной ступенькой выше других в огромном механизме, носящем имя армии, и то, что он теперь скатился вниз, никак не укладывалось в его мозгу. В той среде, в которой он вращался до войны, подобное понижение лишь в редчайших случаях вызывается причинами внешнего порядка.

Он весь как-то осел и, избегая людей, бродил теперь один. Его прыщавое, поросшее рыжей щетиной лицо и лакированные сапоги можно было встретить в самых глухих местах, даже на болоте. Впрочем, он-то не замечал ничего: ни порта, ни канала, ни поля. Для него не существовало ни затянутого тиной остова парусника, ни заводов, где ключом била жизнь. Он думал только о своей личной катастрофе, разросшейся еще больше, благодаря вторжению в его мир новых, нежданных сил.

— Ох, молодежь! — вздыхал он. — Ничего не поп и ш е ш ь! Она уже не понимает, в чем настоящий смысл жизни.

К счастью, он мог еще утешаться мыслью о своей кабацкой Юноне, о заведении, приносившем ему нема-

лый доход, о банковых билетах, от которых оттопыривался левый карман в подкладке его куртки.

— Плевать я хочу на все: у меня красотка-жена!..

Но никого уже не смешила эта фраза. Красивая женщина теперь значила не так уж много.

Во время одной из прогулок, совершаемых с целью моциона и обычно приводивших его к какому-нибудь кабачку, ему пришла в голову мысль заглянуть к Семге. Хижина, в которой жила эта, все еще не сытая любовью, но добродушная женщина, находилась совсем близко от канала.

Шантриль открыл дверь и вошел. Ему показалось, что он попал на судно: низкий потолок, грубая деревянная мебель. Семга перенесла сюда убогую обстановку с парусника, расположив вещи в том же порядке, в каком видел их там.

Она кинулась навстречу капралу.

— Нет! Нет! — крикнула она — Я не хочу!..

Вся ненависть солдат к их мучителям как будто ожила в этой долговязой, насмерть перепуганной женщине. Она старалась вытолкнуть его за дверь.

— Убирайся!

Шантриль расхохотался, но его задело то, что и Семга не пожелала считаться с ним, как с начальством. Он продолжал настаивать, но Семга отчаянно сопротивлялась. Капрал, в конце концов, решил, что здесь кроется какая-то тайна. Очевидно, Семга прячет у себя любовника, и не простого. Быть может, Бараля? Туарона? Как знать?.. При мысли об этом он уже собирался осторожно улизнуть, как вдруг она уступила. Что ж! Он, значит, напрасно дал волю воображению. Кокетка просто хотела немного поломаться.

Ступив несколько шагов, он заметил в полумраке, близ очага, человеческую фигуру. Ее очертания показались ему знакомыми. Сутулая спина, неуклюже расставленные ноги, голова, немного подавшаяся вперед... Да ведь это Марсо!

Как это никто до сих пор не догадался? В шестистах метрах от лагеря?

Семга, между тем, скрылась, выбравшись через низкое окно, выходившее на канал. Шантриль вспомнил, что там всегда стоял на причале пором.

Сознание служебного долга взяло в нем верх над всем остальным.

— Ну, собирайся в два счета!

В присутствии Марсо-Лароза он снова чувствовал себя прежним Шантрилем, в его голосе опять зазвучали властные ноты:

— Ну, живей. Ничего не попишешь!

Мельник, так же как и его начальник, сознавал полную невозможность вырваться из чудовищных объятий воинской махины, уже приведенной в действие и увлекавшей их обоих.

Он поднялся. Вырос он, что ли, со времени своего исчезновения? Его кэпи теперь касалась потолка. Зубы как будто еще удлинились. Марсо-Лароз уже не походил на широкоплечего медлительного труженика, приводившего в восхищение всех на мельнице. Это был еще он, но совсем изменившийся: этот Марсо широко раскрывал глаза и растопыривал бледные руки; он стоял неподвижно, как привидение, и от его былой едкой иронии теперь не осталось и следа. Казалось, он думает о чем-то бесконечно далеком от земли и, быть может, даже видит это духовным взором.

Он прожил здесь, в хижине Семги, несколько недель и вполне насладился бы покоем, если бы не постоянный страх, покидавший его только с наступлением темноты. Он стал за это время еще озабоченней и молчаливее. В его серо-голубых глазах вспыхивал лукавый огонек, лишь когда славная женщина предлагала ему выйти прогуляться по набережной, в проходах, образованных тюками и ящиками с грузом. Да порою слабый румянец озарял его бледные щеки, когда она расчесывала ему волосы, уже похожие на лен.

Шантриль лишь на одно мгновение заколебался, но тотчас же справился с собой:

— Ну, живо! — резким окриком прервал он иллюзию покоя и одиночества.

Продолжая издеваться над стариком, относившимся равнодушно к происшествию, он привел его в лагерь.

Марсо-Лароза снова подвергли заключению. Он степенно шел в хвосте арестантской колонны, исполняя точно во сне все, что от него требовали, работая вилами, таская тяжести.

Его прямой силуэт, двигавшийся машинально, производил еще более скорбное впечатление, чем в те времена, когда он горбился, округлив спину, покорный судьбе.

Все эти солдаты, офицеры, сержанты, капрал, в сущности, были незлыми людьми.. Но каждый из них был только зубцом в сложной системе передачи, захватывавшей все, что с нею соприкасалось. Можно было уклониться от одного зубца, от двух, но не от всех. Они настояли на том, чтобы Марсо, не в пример прочим, был отослан на сборный пункт.

Марсо-Лароз не вернулся в Орливаль. Жизнь не так

просто устроена. В результате таинственных махинаций в недрах всяких канцелярий и ведомственной переписки, учреждение, куда должен был явиться Марсо, оказалось теперь в Париже.

Его отправили туда вместе с аннамитом-венериком, солдатом, подлежавшим переосвидетельствованию, и капралом.

— Везет тебе! — завидовали ему товарищи по заключению.

14

В ожидании, пока дело о нем будет разрешено, Марсо поручили уборку ветхого казенного здания, сооруженного еще при Вобане, если не раньше. Но он не желал или не был в состоянии нести эти обязанности. В результате безразличного отношения, которое могло сойти и за доброту, его перевели в категорию тех статистов, что с метлою в руке влачат дремотное существование на задворках огромных парижских казарм, среди бродячих собак и бесприютных кошек, близ служебных пристроек и отхожих мест.

Жалкие люди! О них легко забывали, лишь бы с ними не приключалось никаких историй. Другие солдаты, находившиеся на пункте, не замечали их, как не замечали предметов, постоянно бывших у них перед глазами. Эти другие были мелкие торговцы, ремесленники, рабочие и даже несколько интеллигентов, попавших в чуждую им среду, где их считали дармоедами, ненужным балластом. Этим сорокапятилетним мужчинам никак не удавалось приобрести воинственный вид, хотя они и прилагали трогательные усилия, чтобы походить на настоящих солдат.

Двор, мощеный широкими неодинакового размера плитами песчаника, хрустел под ногами нескольких сот человек в строго определенные часы: во время рапорта или когда «их» обучали строю.

Мелкие торговцы, ремесленники и рабочие утрачивали последнее представление о дисциплине, делались равнодушными ко всему на свете или окончательно отупевали, в зависимости от того, в какую часть они попадали с пункта: в колониальные ли войска, в интендантскую ли команду, или в артиллерию. Военная махина была организована довольно сложно.

Все это перекрещивалось, сталкивалось, повиновалось. Заглушая друг друга, звенели звонки, но каждый различал в этой неразберихе то, что относилось к нему. И «колониальные» зубоскалы, и солдаты интендантских команд, и артиллеристы очень скоро начинали пахнуть одинаково: воздух был насыщен жирным зловонием кухни, составлявшим как бы атмосферу высшего равенства. Замызганная душа старой казармы, кишевшей клопами и крысами, была так же печальна, как выцветший флаг, уныло висевший над подъездом. Каменная сырая громадина, населенная сотнями копошащихся существ, вела под серым небом жизнь отверженца.

У прикованного незримой цепью к этому ветхому зданию Марсо были про запас два - три приема, позволявших ему успешно избегать столкновений с начальством, неприятной суеты, тюрьмы... Убрав кое-как двор, он присаживался на пороге заколоченной двери и ждал конца рабочего дня. Когда к нему подходил унтер, он ворчал:

— Он уже справился со всем...

— Ему ничего не нужно...

На этом безлюдном зловонном дворе долгое время его единственным соседом был больной кот, которому он давал объедки.

Это было одно из тех бездомных животных, что бродят по крышам, по пустырям, ютятся в самых глухих углах казарм. Солдаты считали его чем-то в роде казенного имущества, но однажды пьяный моряк кортиком проткнул ему бок. Кот остался лежать на месте, вылизывая кровь, сочившуюся из раны. Его не прикончили, быть может, из жалости, быть может, потому, что ни у кого не нашлось времени. Он все-таки выжил и теперь бродил по мощеному двору, изогнув спину дугой, передвигая все четыре лапы в одной вертикальной плоскости, вытянув в прямую линию голову и хвост. Его взял под свое покровительство адвокат, исполнявший на кухне должность судомойки. Солдаты относились с известным уважением к этому пожилому человеку, который, не чувствуя себя способным иным способом приносить пользу родине, соглашался мыть их посуду. Животное пользовалось благосклонностью старика — явление довольно редкое среди обитателей казармы, обычно не щадящих слабых, обиженных судьбой.

Марсо делил одиночество с этим чудом спасшимся котом, и на него также распространилась равнодушная снисходительность солдат. О нем забыли, с него ничего не спрашивали. Часами просиживал он на пороге рядом с животным, на плешивом боку которого алел отвратительный рубец. Никто не мог бы сказать, чего он ждет, на что надеется.

— Ему ничего не надо, — говорил он, и трудно было догадаться, кого он имеет в виду.

Черный, весь почерневший, с невидящим взором и запавшим ртом, в своей расползшейся по швам, выцветшей шинели, сквозь которую можно было прощупать все его кости, с утратившим всякую форму кэпи на зеленоватых волосах, он походил на привидение.

В этот раз он был, повидимому, окончательно раздавлен. Незримая ноша сломила-таки этот широкий крестец, которому еще недавно были нипочем грузные мешки, оказавшиеся легче тяжести рока. Он упрямо отсылал обратно деньги, которые ему переводил брат.

Не то пятнадцатого, не то шестнадцатого сентября он не захотел или не мог подняться с койки. Его отвезли в госпиталь.

Немного времени спустя он умер там, не издав ни единого стона. Мадам Шантриль, узнав его историю, охотно согласилась, в виду отсутствия кого-либо из близких, проводить Марсо к месту вечного успокоения — на кладбище Банье. Гроб был обернут национальным флагом.

ЧИТАТЕЛЬ! Сообщите Ваш отзыв об этой книге, указав Ваш возраст и Вашу профессию, по адресу:

Москва, Центр, Никольская 10. БПК „ЗИФ“